

НАУМ КОРЖАВИН

***В СОБЛАЗНАХ
КРОВАВОЙ
ЭПОХИ***

II



ЗАХАРОВ
МОСКВА

УДК 882-94
ТБК 104
К 66

Полный текст в авторской редакции

Издание второе, исправленное

К 66 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 2. — М.: «Захаров», 2007. — 752 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.

Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная...

В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...

ISBN 978-5-8159-0656-3
ISBN 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)

УДК 882-94
ТБК 104

© Наум Коржавин, автор, 2007
© Ирина Богат, издатель, 2007

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПО ЭТАПУ В РОССИЮ

Вступление

Сегодня 12 августа 1998 года. Итак, я приступаю к рассказу об этапах и о моей жизни в Сибири. Первые две главы — об этапах. В них — встречи, впечатления, самые разные судьбы и рядом с ними мое восприятие, противоречащее моей же «ангажированности», за которую я держусь. Но меня волокут по этапу в Россию и к свободе. К свободе — это когда меня выпустят в ссылку (этого я жду не дождусь) и к свободе от этой «ангажированности», — этой второй свободы я не хочу, боюсь и надеюсь избежать как потери смысла жизни.

Повествование поневоле фрагментарное — этап ведь и есть этап.

Дальше пойдут деревенские впечатления. Думаю, что мой деревенский опыт ценен. Конечно, я в своем знании и чувстве деревни не могу конкурировать с авторами «деревенской прозы», я и в деревне оставался городским человеком, но все же мне открывалось больше, чем многим горожанам, кому приходилось бывать или даже работать в деревне — я никак не ассоциировался с начальством. Все, что я видел и что вспоминаю — свидетельство о том, как последовательно и планомерно Сталин губил и убивал Россию.

Не знаю, нужно ли это кому-нибудь сейчас, когда само существование России под вопросом. Но прошлое знать надо. Может, потому оно сейчас под вопросом, что привитые ей болезни лечили без учета их истории. Делаю что могу.

От Лубянки до Свердловской пересылки

Но наконец ворота Лубянки (ряд ворот? — но я не запомнил, да ведь изнутри и не видно) за нами закрылись, и «воронки» развернулись на московской улице. В заднее решетчатое окошко что-то было видно.

— Фуркасовский переулок, — уверенно сказал один из сидевших рядом со мной, по профессии московский шофер. — Вот на Кирова (сейчас опять Мясницкая) повернули. Видать, на Каланчевку везут, к вокзалам...

Интерес был не праздный — люди старались угадать, куда их увозят. Из всех только я один знал, что еду в Новосибирск. Отсюда должно было следовать, что и остальных, раз их связали со мной, перемещают в том же направлении — на восток. Но кто мог знать, что из чего «у них» следовало. Впрочем, и в Новосибирск поезда шли как с Казанского, так и с Ярославского вокзала. Мне по старой памяти хотелось, чтобы нас увозили с Ярославского — мимо все-таки привычных или обжитых мест; чтобы все это — Мытищи... Строитель... поворот на Подлипки... — промелькнуло передо мной напоследок еще раз. И сначала вроде к тому и шло — «воронок», быстро докатив до Казанского вокзала, к моей радости, проехал мимо него. Вот-вот он должен был развернуться налево к Ярославскому. Но он круто повернул направо, в один из незнакомых мне переулков, ведущих к железнодорожным путям, и мы быстро оказались на небольшой площадке, которой он у самых путей заканчивался. Собственно, это была не площадка — просто двухэтажные бревенчатые дома дореволюционной постройки, из которых он состоял, здесь расступались шире. Тут нас ожидал другой конвой, с собаками. Нам велели выгрузиться.

И началась невиданная мной доселе, но вполне рутинная процедура передачи-принятия эзков. Один конвой нас поштучно сдавал, другой принимал. Внимательно смотрелись бумаги, сличались с ними приданные им люди. Каждый окликаемый обязан был назвать свои «инициалы полностью» (то есть полностью имя и отчество, год рождения, статью и срок). Ничего удивительного в этом нет — конвоиры отвечали за нас тоже поштучно. Но с непривычки подав-

ляло... Когда в конце концов эта нудная работа была закончена, нас построили в колонну и погнали — именно погнали! — по разным насыпям и путям. Не бежать было нельзя, подгоняли окрики конвоиров и лай собак, а бежать — тяжело: щебень осыпался под ногами, разъезжались ноги. Я задышался. И главное, было невероятно тяжело удерживать и тащить свою корзину.

В принципе я не так уж слаб. Но при этом я всегда был не в силах, например, таскать носилки, особенно груженные — они скоро начинали выскальзывать у меня из рук. Ибо руки мои всегда были очень слабы в кистях. У меня просто нет бицепсов (как и икр на ногах). Объяснение, что это у меня было оттого, что я мало занимался физическим трудом, отпадает. Мне приходилось им заниматься больше, чем многим моим друзьям, но у них и бицепсы, и икры на месте, а у меня их нет совсем. Это моя личная патология. И теперь она сильно ухудшила мое положение.

Корзина эта, весь мой скарб, не только оттягивала мне руки, но с каждым шагом все сильнее и настойчивее стремилась выскользнуть из одеревеневших пальцев. Было просто необходимо упасть и отдышаться, но бесконечные «быстрей-быстрей!» конвоиров и злые повизгивания собак исключали такую возможность. И я уже не прочь был разжать пальцы и выпустить ее из рук, но страшно было оказаться голым в Сибири. Деваться было некуда. А за ноющей, пропотевшей спиной, примерно в километре от нас, зазывно и празднично — попробуй убеди нас тогда, что не празднично — сияли огни Казанского вокзала, жила Москва.

Бег этот казался бесконечным, и все-таки настал момент, когда обессиленные, полуживые, задыхающиеся, мы кое-как добрались до «вагонзака» — вагона для заключенных.

В старину этот вагон с зарешеченными окнами назывался просто «тюремный». Но теперь получил наименование — «стольпинский», или просто — «стольпин». Только так его и звали. Сын П.А.Столыпина, Аркадий Петрович, когда я разговаривал с ним в Париже, справедливо огорчился и даже возмущался по поводу такого закрепления в народной памяти имени его отца.

— Ведь он же намного облегчил положение арестантов: их стали перевозить в классных вагонах, по четыре человека в купе. Он же не знал, что туда будут вталкивать по двадцать.

Конечно, не знал. Многого не знал П.А.Столыпин из того, что в целом ему не дали предотвратить. Знал только в общем, что грядет нечто, что предотвратить необходимо. И не был понят. Во всяком случае, вагонов для советской пенитенциарной системы он не готовил. Впрочем, она любые бы приспособила.

Но речь сейчас не о П.А.Столыпине. Нам было не до него, когда нами начали загружать «его» вагон. В том состоянии, в каком я был, о том, чтобы взобраться (не с перрона, а с земли) на его ступени, казалось бы, и думать нельзя было. Но мне «подмогнули». Пинком сапога в зад: «быстрей-быстрей!» — я чуть ноги себе не сломал, но взобрался. Конвоиры, видимо, опираясь на опыт, были уверены, что любой, если его заставить, выдюжит. В данном случае они были просто проникнуты психологией того государства, в котором жили. Не так же ли Сталин погнал тогда всю усталую, обессиленную и, как теперь ясно, обескровленную войной страну на новые жертвы во имя приходящих в его большую голову «великих» задач? И ведь и впрямь она до поры до времени выдюживала.

Таким был порядок вещей. Конвоиры вели себя так, словно каждый раз вдавливали в донельзя переполненное помещение еще одного уже никак не помещавшегося человека. А вагон был еще пуст. Впрочем, теперь я понимаю, что у конвоя были резоны спешить. Нас, «политикантов», пока еще почему-то надо было отделять от иной публики, но не нас берегли от уголовников, а всех остальных от нас. Они не должны были нас видеть, чтоб не заразиться. Поэтому нас и привели первыми и разместили в самом крайнем от входа купе. Хотя при этом всех везли в одни и те же лагерь, где они неизбежно должны были встретиться. Но такова была природа сталинского театра — играли неизвестно перед кем идиотский спектакль. Особенно истово в Москве. Ради этого спектакля нас и мучили.

Купе наше быстро наполнилось. Точнее, переполнилось. Тоже «политиками», но не «нашими», с «Большой Лубянки», а насельниками других московских «внутренних» тюрем: «Малой (областного управления) Лубянки» и политического корпуса «Бутырок», а также иногородними, доставленными сюда из центральной пересыльной тюрьмы «Красная Пресня», куда их привезли из городов, где они

жили и были арестованы. Помню одного, явно интеллигентного латыша. Приговор — не то восемь, не то десять лет. Кто-то «понимающий», кажется Саша, догадался:

— А-а, за пана Бандеру!..

Догадка была нелепой. Бандеровцы действовали на Западную Украину, где служил Сашин брат, а те, кто действовал в Прибалтике, назывались «лесные братья». Но для Саши, видимо, разницы не было — раз партизанят против нас, значит бандеровцы. Но латыш его понял, не стал уточнять термины, только сказал:

— Нет, что вы... За пана Бандеру меньше пятнадцати не дают.

Потом появился ксендз из Гродно. Впрочем, что этот человек ксендз, я понял только годы спустя, хотя он вовсе этого не скрывал, а прямо ответил на вопрос о профессии:

— Я божничий.

Но я плохо его понял. Хотя вообще он говорил по-русски вполне грамотно — кончил когда-то русскую гимназию, чем заметно гордился. И не только из-за русского языка. Я почувствовал, что это в довоенной Польше было престижно.

Меня сбило с толку это слово — «божничий». Из-за него я очень долго считал, что он был каким-то мелким служкой при костеле. Это несколько контрастировало с его возрастом, образованием и общим впечатлением от его личности, но я не задумывался. Теперь я понимаю, что «божничий» — обобщающий термин, аналогичный нашему «человек духовного звания». Уверен, что я сильно ошибся и в определении его сана — как минимум был наш спутник настоятелем своего костела, но, может, и вообще епископом. Высокий, худой и бледный (после тюрьмы? Но мы все были после тюрьмы, а он отличался бледностью), он был невероятно юрок, очень разговорчив и как-то суетливо любопытен. Такими изображал поляков Достоевский, но я больше нигде не встречал таких (говорю только о внешних проявлениях, а не о сути, ибо мало о нем знаю). Советскую власть божничий, мягко выражаясь, не любил, чего не скрывал. Но «божничество» его ни в чем не проявлялось — религиозно просветить нас он не пробовал. Ни исподволь, ни прямо.

Хотя разговоры бывали на всякие темы. Однажды, выслушав мой сталинистский бред, он шепнул Рузеру, с кото-

рым я, собственно, и спорил, что, дескать, ясно, почему он так говорит — еврей. Из-за чего ему пришлось вежливо выслушать вполне интеллигентную отповедь, что недостойные люди встречаются среди всех народов.

С «высоты» своего тогдашнего исторического мышления я ни на одного из них не обиделся. Только жалел их за узость горизонтов и заскорузлость представлений. Не обижаюсь — правда, по другим причинам — и сегодня. Нести то, что я нес среди того моря страданий, в котором находился, было не только глупо, но и бесчеловечно. Так что раздражение я вызывать, безусловно, должен был. Правда, эти мои умствования — мой личный грех, и распространять представление о нем на всех остальных евреев мира — тоже дело не святое. Но полностью комизм ситуации был мне тогда недоступен. Безусловно, для «божничего» тождество понятий «большевик» и «еврей» существовало непреложно. Оно подкреплялось тем, что некоторая часть еврейской интеллигентной и полуинтеллигентной молодежи (но отнюдь не вся молодежь и тем более не все евреи) в «освобожденных» в 1939—1940 годах местностях поддержала «новую власть» и даже сотрудничала с ней. Вспомним обескураженных западноукраинских милиционеров, встреченных мной в поезде во время эвакуации. Однако и они в своем поведении, и он в отношении ко мне руководствовались одним и тем же анахронизмом. Он тоже (он ли один?) не понимал, насколько изменилось время, и ему трудно было представить, что человек, с которым он почти одинаково, по-человечески воспринимает мою белиберду, как раз и есть тот самый «еврей-большевик», какого он видел во мне, а я в значительной мере поддерживал сталинскую измену большевизму. Впрочем, понимать эти «тонкости» ему — да еще в тех условиях — было совершенно необязательно. Жаль, что его естественное возмущение моим умствованием выразилось именно так, но не мне, тогдашнему, его за это судить...

А я ведь тоже страдал. Бег с корзиной и «посадку» в вагонзак я уже описал. И вообще я разделял общую судьбу. То, что мне маячила впереди свобода на поселении и, как я полагал, жизнь в Новосибирске (не Москва, конечно, но все же...), здесь не воспринималось как реальность. Для конвоя мы были все одинаковы, и это передавалось. Но в глу-

бине души я знал, что это меня отличает, и я испытывал от этого радость. Но и неловкость.

Между тем маневровая «кукушка» подогнала наш вагон к вокзалу, почти к самому тупику, к поперечному перрону. Потом впереди нас поставили весь пассажирский состав, и была объявлена посадка на пассажирский поезд № 71 Москва—Новосибирск, и она тут же началась. Решетчатая стена купе не мешала нам через коридор и зарешеченное окно вагона видеть происходящее на перроне. А происходила там обычная предотъездная суতোлка. Офицеры, их жены с детьми, студенты, мужики, бабы, работяги, командировочные и Бог знает кто еще — все, как всегда, ринулись занять места в бесплацкартных вагонах. Впрочем, и свои законные в плацкартных тоже надежней было бы занять пораньше — иногда продавали по два билета на одно место. В общем, за окном шла обычная и хорошо мне понятная вокзальная жизнь. Я ведь и сам не раз бежал в такой толпе, обуреваемый такими же заботами и тревогами. Теперь я был напроочь от них освобожден. Люди спешили. Кое-кто на бегу оглядывался на наш вагон, но таких было мало. Что ж, им ведь здесь и впрямь было не до нас — самим бы поспеть.

Здесь. Но и на той площадке, где нас сдавали-принимали, было то же самое. А ведь в домах вокруг этой площадки жили обыкновенные люди. Они проходили рядом с нами, не видя нас. Все были подчеркнуто погружены в свои дела и, как мне кажется, даже испытывали особое чувство достоинства от своей непричастности к нам. Я их за это не осуждаю и тем более не осуждал тогда. Они мало что понимали, ничего не могли и (может быть, и не сознавая того)... боялись. Да я ведь и сам не раз проходил так же — при любых взглядах. И думать мне сейчас об этом больно не из-за них одних, а из-за нас всех — это наше общее проклятие.

Впрочем, так было не всегда. Н.Я.Мандельштам писала о ткачах своей фабрики, расположенной у самой Ярославской железной дороги, которые по утрам специально выходили раньше на работу, чтоб поискать случайные письма, выброшенные из проходящих арестантских эшелонов в расчете на добрых людей. Добрые люди понимали это, искали эти письма, находили и отсылали родственникам несчастных. Это была Россия. Но ее властно и тотально воспитывали и перевоспитывали — террором, пропагандой и

особенно порядком вещей — непременно торжеством лжи, жестокости и несправедливости над здравым смыслом и естественными представлениями. Убедительность этого торжества имела колоссальное воспитательное значение — особенно в глазах подрастающих поколений. Это создавало нового человека.

«До сих пор мы так друг друга / Все возьмем... И смотрим вслед», — писал я в одном стихотворении конца шестидесятых. Вот и довели (друг друга) до сегодняшней (28 января 1998 года) низкой отметки. Как отсюда выбраться? Но тогда, в годы, когда, собственно, и губили Россию, у меня таких мыслей не было. Просто было больно, что отторгнут от общей «настоящей» жизни.

В купе постепенно затолкали и впрямь человек двадцать, стало фантастически тесно, был использован каждый сантиметр пространства. Но как-то все улеглось, точнее, утоллось. Поезд тронулся. В том направлении, откуда я когда-то приехал. А навстречу летели электрички и шли в Москву дальние поезда, и в каждом из них в этот день и на завтра (ведь всего-то было 2 и 3 сентября!) был вагон с белой глянцево-дощечкой «для студентов» — это возвращались в Москву мои сверстники. Так еще в прошлом году возвращался в Москву и я. Было больно и обидно — меня увозили от всего, чем я жил и что любил.

Однако знакомым мне путем поезд шел только до Люберец. Там поезд стал несколько углубляться в землю, поднырнул под Рязанскую дорогу и вынырнул уже на собственно Казанской ветке. С этой стороны я не приезжал, в эту сторону не ездил, вообще здесь ни разу не бывал. Только видел интригующую меня надпись над пригородными кассами Казанского вокзала: «Направление на Черусти». Но если приходилось мне ехать, то только по другой ветке — на Раменское. До Раменского по Рязанке тогда уже ходили электрички, а по этой ветке, на Черусти, их еще и в помине не было. Здесь пригородное сообщение осуществлялось только редкими паровичками. А находились на ней такие удивительные места, как Гжель, — впрочем, о том, что это такое, я тогда и понятия не имел. Теперь Бог сподобил и меня проехаться по этой интригующей ветке. Но — не на пригородном поезде.

Места по этой ветке были тогда менее обжиты и обихожены, чем сейчас. За окном проплывали не дачные участ-

ки, а казавшиеся мне нетронутыми леса... леса... Домики и опять леса... Отсутствие электрички не стимулировало дачного строительства.

Запомнился мне — это была первая остановка поезда — старинный, с колоколом вокзал на мифической до этого для меня станции Черусти, приятно-серый, дощатый, какой-то с виду очень просторный и уютный, весь «с раньшего времени», как говорил Паниковский. Но ступить на его перрон, находившийся в метре от моих глаз, было бы для меня тогда так же фантастично, как пройти по Елисейским Полям. Путается в моем сознании время. Хорошо помню огни на Казанском вокзале — следовательно, дело было вечером. Но помню и станцию Черусти — часа через три-четыре. Может, мы прибыли туда под утро? А может быть, я видел перрон и название при электрическом освещении, а кое-что добавилось от более позднего впечатления? Я ведь проезжал эту станцию еще раз, когда ехал — уже не в вагонзаке — в Караганду через Симбирск (Ульяновск) и тогда прогулялся-таки по этому старомодному перрону. Но сейчас — в тесноте, да не в обиде — о таком я даже и не мечтал. Просто лежал как все, скрючившись, и печально глядел на все, мимо чего меня безжалостно провозили, увы, мазали по губам.

Проплыли мимо и Черусти со своим вокзалом. Поезд утягивал нас все дальше и дальше от мест, где мы жили, и как мне тогда казалось — от нашей жизни.

Почти все спутники почему-то стерлись из моей памяти. Кроме одного ярко выраженного словоохотливого еврея, генерала МВД — так, во всяком случае, он выглядел в своих рассказах. Вообще хвастал он много — в основном своим утраченным теперь положением и былыми возможностями. Казался он в своих рассказах еще и жертвой интриг, в том числе и со стороны родного отца, который писал на него «телеги», что хочет жить как отец генерала, а сын этой возможности ему не обеспечивает. Впрочем, он и сам не говорил, что сидит за это. Сидел он по какой-то «бытовой», то есть неполитической, статье, а к нам попал потому, что и дела работников МВД рассматривало МГБ — вот и привезли вместе с нами с Лубянки, а раз с нами привезли, то с нами и поместили. Думаю, что ничего особенного (того, чего не делали его сослуживцы сходного

ранга) он не совершал, а арестовали его в порядке очищения аппарата МВД от еврейского элемента, которое тогда втихаря проводилось. Иногда я думаю: уж не был ли это сам изобретатель ГУЛАГа Френкель? Тот, согласно Солженицыну, ведь тоже был просто валютчик, который, будучи посажен, догадался, чем «им» можно подфартить, то есть что «им» нужно, выгодно и по вкусу. Убеждение в какой-то демонической ненависти того Френкеля к русскому народу ни на чем не основано и не по масштабу личности. Его уровню больше соответствует то, что вспоминает один из друзей его детей: что ему после всего содеянного лестно было носить погоны русского генерала. Как из этого не следует, что он постиг и приобщился к русской истории, так и из предыдущей его деятельности — что она вызвана ненавистью к народу. Делал, что ему удобней, и ощущал себя — кем престижней. Такие люди в основном смешны, иногда трогательны, о них можно рассказывать анекдоты, но в некоторых условиях, когда они получают возможность действовать не по уровню и не по разуму, они становятся опасными. Встречаются они — в несколько другом колорите — отнюдь не только среди евреев. Но точной уверенности, что моим спутником был именно Френкель, у меня нет. Хотя я знаю, что того в конце концов тоже посадили, но не знаю, сидел ли он уже тогда. Может, это был только сослуживец Френкеля? Но это был явно человек того же типа.

Исчезли из моей памяти и почти все подробности нашего путешествия. Порядок был общим, утвержденным управлением по перевозкам МВД. Всем выдали хлеб, немного сахара и сухой паек — соленую кету или горбушу (грубая форма того, что в Америке называется salmon). Издевательской цели это не имело, но после соленой рыбы обычно очень хочется пить. А удовлетворить эту потребность конвой способен был не всегда: слишком много было подопечных — гораздо больше, чем можно запасти воды. Просьбы «Начальник, дай водички... Терпеть невозможно» раздавались отовсюду. Обращение «начальник» к рядовому конвоиру было, как нам казалось, нашим хитрым изобретением, но, как я потом понял, столь же изобретательны бывали все зэки — а как еще обращаться, если просишь? «Гражданин надзиратель»? По-моему, «начальник» было даже более по-человечески. Сначала наши просьбы удов-

летворялись, но по мере истощения водных запасов — все неохотней. Потом вообще предлагали потерпеть до следующей большой станции. Нельзя сказать, чтобы конвоиры были всегда вежливы, работа эта к выработке хороших манер и уважения к людям не располагала. Да и управиться с таким количеством разношерстного народа тоже непросто. Но особого желания издеваться или мучить я у них тоже не припомню. Действовали по инструкции. Когда получали воду, исправно поили.

Хохмы иногда были с другой стороны. Один конвоир-украинец, когда к нему сильно пристали с водой, разозлился и гаркнул:

— Что вы тут разгуделись, як бджолы!..

Эти «бджолы» привели всех в восторг, показались забавными — вот, дескать, кретин, простого слова выговорить не может. Между тем «бджолы» — это вполне нормативное украинское слово, означает «пчелы», и смеяться тут было не над чем. Впрочем, смеявшиеся понятия не имели об украинском языке.

Один из надзирателей, молодой парень, относился к арестантам лучше других, всегда когда мог, старался помочь. И однажды, когда рядом не было его товарищей, он сказал нам тихо:

— Я позапрошлым рейсом своего брата отвез в лагерь. Что я мог? Купил ему хлеба, дал какие-то вещи... И — простились.

Вспомнилось в этой связи мне единственно уцелевшее в памяти четверостишие из длинной-длинной песни о тяжелой лагерной доле, которую года через два с половиной я услышал в вагоне, в котором возвращался из ссылки. Пели ее лагерные «мамки», освобожденные по этой причине специальным указом:

Там тягостен труд заключенных,
Там сын охраняет отца.
Он тоже свободы лишенный,
Он должен стрелять в беглеца.

По дороге на больших и малых станциях все время происходила какая-то суетня, конвоиры кого-то принимали и рассаживали, по-видимому, прихватывали местных осужденных и репрессированных. Но нас это не касалось, у нас и так был сверхкомплект, и мы ехали своим первоначаль-

ным коллективом «политиков». На следующий день часа в четыре пополудни прибыли в Казань. В Казани наш вагон точас после остановки поезда подхватила «кукушка» и отвезла куда-то в укромное место, где вдали от честных советских граждан и были произведены все «погрузоразгрузочные» работы. После чего перед самым отходом поезда та же «кукушка» отвезла нас обратно и поставила на то же место, в хвост состава. Поезд двинулся и повез нас дальше. В Новосибирск, как я полагал, и куда поезд действительно следовал. Но в Свердловске нас от него отцепили. Сначала все было как в Казани — такая же «кукушка» так же отвезла наш вагон в укромное место. Но дальше все пошло по-другому, нам всем без исключения велели выгружаться. Путешествие мое временно прервалось.

Укромное место, где нас выгрузили, представляло собой, как и в Москве, площадку у путей, которой, если мне не изменяет память, так же заканчивался какой-то обыкновенный «жилой» переулок. Впрочем, внешняя обстановка помнится мне смутно. Помню только то, что происходило. Здесь опять, как в Москве, — процедура эта везде была одинакова — один конвой стал сдавать нас другому по списку. Из подследственного арестанта, которого МГБ вынуждено было ломать персонально, я, как и все вокруг, прочно перешел в безликую (согласно специфике ГУЛАГа) категорию эзков. Нас куда-то повели колонной, велев всем в каждом ряду взять друг друга под руки, как это делают влюбленные. Это было не самовольным издевательством конвоиров, а буквальным исполнением инструкции ГУЛАГа. Я не могу вспомнить, куда при этом девались наши вещи — неужто погрузили на что-то? Или мы их все равно в руках держали — так сказать, из-под локтя соседа? «Своих» (из нашего купе) я в этой сутолоке быстро, хоть и временно, потерял. Точнее, они, как и я, растворились в каком-то странном для меня человеческом море. Я тогда не знал и не понимал, что столкнулся с живой историей народа.

Состояло это море из мужиков в странных для меня желто-серых или коричнево-серых, в общем, неопределенного цвета одеяниях. Чем-то они напоминали солдатские шинели, но были бесформенны и потому очень непохожи на них. Только потом я понял, что это были «сермяги» — именно те, от которых «сермяжная Русь». Под стать мужикам

были в этой толпе и бабы — так же покорившиеся судьбе, но обязательно подпоясанные, более строгие. Их тоже было много. Много было и подростков, даже детей. Что их ждало? В сермяге был и человек, с которым мы шли рядом и, как было велено, под руки. Я не занимался этнографией — просто растерянно пытался выяснить, среди кого нахожусь. И спросил своего соседа, какой у него срок. Он ответил то ли «семь», то ли «десять» — теперь не помню. А на вопрос, по какой статье ему столько дали, он покорно и лаконично произнес:

— От седьмого-восьмого...

— ???

— Да от седьмого-восьмого... тридцать третьего.

Но я все равно ничего не понимал. И тогда он пояснил:

— Да за колоски... За колоски же.

То же отвечали и другие мужики, бабы и подростки, тоже уличенные в этом таинственном преступлении. Тут уже, по их мнению, мне все должно было стать ясным. Дело простое и всем известное — «колоски». И то, что приговоры за эти «колоски» были весьма весомыми — семь—десять лет, их тоже не удивляло. Так и ведется, так везде. Но я все равно ничего не понимал. Я знал, что «червонец» можно огрести за анекдот, но за «колоски»!

Только потом, в ссылке, кто-то из бывалых лагерников объяснил мне состав их преступления. Оказывается, эти люди были пойманы с поличным при попытке расхищения социалистической собственности и сурово наказаны согласно постановлению ВЦИК и СНК СССР от 7 августа 1933 года о борьбе с такими расхитителями. Вот по этому постановлению и получали эти «сермяги» свои семишники и десятки. Сравнить их сроки с объявленными «нормами» не имеет смысла. «Ширпотребная» статья 58/10 часть 1 («антисоветская агитация в мирное время») не предусматривала сроков лишения свободы больших, чем три года, а давали по ней чаще всего десять, редко пять, и я не помню, чтоб меньше. И все это знали. И это было в порядке вещей. Так могло быть и с этим постановлением. А может, и не было. Но важно для меня сейчас не это, а то, что социалистической собственностью, которую расхищали эти «сермяги», как раз и были эти самые «колоски».

Дело было самое простое. После уборки урожая на колхозном (бывшем еще недавно их собственным, крестьян-

ским) поле при социалистическом землепользовании всегда оставались неподобранные колоски ржи. Ни колхоз, ни государство подбирать эти колоски — часто из грязи, а то и замороженные — не собирались. Но они ревниво охраняли свое социалистическое право собственности на них. И этого никак не могли взять в толк те, кто это поле засеивал и убирал. Они почему-то считали эти колоски бросовыми и собирали их. С тем чтобы, принеся эту «добычу» домой, выбить из колосков зерна, смолотить и употребить их в пищу. О рации, толкавшем людей (природных хлеборобов) на подобные трудовые подвиги в уже начинающем замерзать поле (речь о более чем средней полосе), предоставляю судить самому читателю. Тут их и настигал праведный гнев потревоженного в своих непонятных правах государства. Это зверское постановление было придумано летом 1933-го. Возможно, тогда оно имело какой-то, тоже нечеловеческий, тоже, с нормальной человеческой точки зрения, непростительный, но ясный хотя бы самому этому преступному государству патологический смысл. Допустим, оно «сочло целесообразным» соответствовать этим «утверждению молодого и еще не окрепшего колхозного строя» — чтоб никто ни на что, кроме как на полученное по трудодням, не надеялся (партия ведь и тогда «воспитывала» оказавшийся в ее когтях народ). Но сейчас на дворе было 4 сентября 1948 года. Уже давно не было ни СНК, ни ВЦИКа, колхозный строй так или иначе утвердился. Между тем все эти люди были недавнего набора. Как видите, это давнее постановление в своей хватательной сути действовало, как только что принятое. Оно с прежней прытью продолжало гнать по этапу в лагеря сермяжную Русь. И делал это Сталин, чуть ли не традиционный в глазах нынешних «национально мыслящих» российский император и патриот*.

Как ни странно, это «мероприятие» проходило совершенно незаметно для всего остального общества, хоть о нем все знали. О раскулаченных в обществе вспоминали

* Это выражение (я уже писал об этом не раз) вызывает мое ироническое отношение не из-за слова «национально». Человек может быть национально настроенным, национально ориентированным, но мыслить надо не национально и не классово, а только ясно и точно. Тогда при любой ориентации не объявишь Сталина выразителем национальной идеи.

редко — реже, чем о «жертвах тридцать седьмого», — но все-таки вспоминали: дескать, были и тогда большие перегибы. Да и все-таки они были явно репрессированными. К этой категории их сразу отнесла и перестройка. И занялась их реабилитацией. А «расхитители» просто оказались никому не интересны — ведь шли они не по политической статье. Я и сам о них не то чтобы забыл, но долго не вспоминал. Тем более что больше нигде с ними не пересекался. Разве что в камерах на пересылках (нас от них быстро отсортировали) во время переключки иной перемещаемый лагерник назовет «от седьмого/восьмого» как статью, по которой сидит. Но там была «различных состояний смесь», много интересных и диковинных личностей, многое поражало, и эти не привлекали моего внимания.

И продолжалось это (для меня) до одного рядового разговора в конце шестидесятых — начале семидесятых годов. Обсуждали мы с моим, ныне уже покойным, умным, талантливым и бывалым другом Камилом Икрамовым разные насущные проблемы — что с нами было и что еще может быть. Коснулись и лагерей, в которых он провел изрядную часть своей жизни (как сын Акмаля Икрамова, одного из подсудимых «бухаринского» процесса). Я — не помню в связи с чем — неосмотрительно заметил, что главным лагерным «ширпотребом» были набранные по статье 58/10 — антисоветская агитация, «балалаечники», «болтуны». Он подумал, признал, что таких было очень много, но со мной не согласился. Назвал еще несколько категорий (например, «вояк» — просто пленных и власовцев), а потом покачал головой и произнес:

— А больше всего сидело крестьян — «за колоски». «За хищение социалистической собственности». Небось и сам слышал на пересылках, как откликались: «от седьмого-восьмого». Помнишь?

Я помнил. И еще я помнил себя в этом море сермяг, в чем-то желто-сером, но отнюдь не шинелях.

Надо сказать, что у остальных лагерников, с кем мне удалось поговорить, эта количественная оценка удивления не вызвала. Все считали ее близкой к реальности. Но даже если мой друг ошибся и эти расхитители не составляли большинства лагерного населения, они составляли внушительную его часть, достаточную для такой ошибки. Ведь

Камил — человек иной среды, иного общения — даже в лагере. То есть никаких пристрастий тут у него быть не могло. Да и разговор этот был случайным, не имевшим продолжения. Да и на меня тогда этот факт хотя, конечно, и произвел впечатление, воспринимался как просто еще одно преступление сталинщины. И ведь не мог он произвести более сильного впечатления, чем коллективизация и раскулачивание, о которых я тогда много думал. И действительно, именно они были основой всего последующего, в том числе и закона «от седьмого/восьмого». И только теперь весь ужас того, что я тогда в Свердловске увидел (впрочем, среди всякого другого ужаса), дошел до меня в полной мере. Разумеется, это мероприятие было только довершением разгрома деревни. Да и вообще жизни. Как вся коллективизация. И все же...

И все же немаловажно, что таких было очень много — этот факт я считаю установленным. Особенно если учесть, что начало это постановление действовать в 1933-м году, а прекратило свое действие не раньше, чем умер Сталин — через двадцать лет. И за эти двадцать лет оно произвело большую демографическую работу.

Ибо кто были эти люди, которых оно вырывало из жизни? Отцы семейств, пытавшиеся хоть так накормить семью; матери, пытавшиеся хоть что-то принести своим плачущим детям; братья и сестры, заботившиеся о младших в семье и о родителях. То есть как раз те, кто нес в себе опору, связь и традицию семьи и слабнувших человеческих связей. И вот всех этих людей, эту опору жизни представители власти с умным и грамотным видом отрывали от семей. И сажали под замок, демонстрировали односельчанам на открытых судах как преступников и... изымали из жизни. Из каких-то ему одному ведомых (но боюсь, что и им тоже забытых) соображений социалистическое государство прицельно било по самым элементарным и прямым человеческим связям, резало ножом по живому. А в 33-м хотя государство было уже сталинским, при нем — пусть жалко и растерянно — много еще болталось лиц, для которых социализм был не звук пустой. Смолчали.

Вы представьте себе всех действующих лиц этой драмы: председателя в сапогах, который один или с ватагой подлицов или злых дураков (активистов) выслеживает этих «рас-

хитителей», а также этот подавленный зал суда, который слушает дело о том, как тетка Матрена подло хотела накормить своих голодных детей тем, что все равно пропадает. А еще представьте себе этих судью и прокурора, которые чаще всего были родом из такой же вот деревни, но набрались в городе каких-то относительных знаний, сознания государственной целесообразности и представления о диалектике как о нравственной партийной доблести. Вот и сейчас они возвышаются над темнотой среды, из которой вышли, и смотрят в лица ничего не понимающих людей своими давно уже все понявшими глазами. А на самом деле и они сами ничего не понимают — просто приучились к тому, что этого и не надо. И теперь приучают к этому других. Вглядитесь в эту картину и перенеситесь в наше время, и суд в Ошмянах над негодным Лукашенке журналистом Шереметом с его ни на чем не основанным приговором, и ответом прокурора интервьюерам по поводу его — вопреки очевидности — утверждения, что Шеремет переходил границу: «Это мое мнение. Имею я право на свое мнение или нет?» (дескать, я и по-вашему ботаю — не укусите) — не покажется слишком удивительным. Это та же школа, хотя этот прокурор образованней и ловчей тех, простодушных. И сознательно затушевывает правом на мнение необходимость его обосновывать — почти как художники новых школ. С той разницей, что от художнических притязаний не зависит чья-либо свобода.

Так из обыкновенных людей выковывались кадры гибели. Разумеется, происходило это не только при исполнении этого постановления, но здесь наиболее открыто и — в то же время — наиболее незаметно.

Это была тупая жестокость, жестокость, вошедшая в быт. И ударила она не только по самим подсудимым. Конечно, их ни за что ни про что забирали из дому и бросали туда, где ни дна ни крыши. Иногда в такие гиблые места, где выжить не могли даже они, с детства привыкшие к тяжелому физическому труду и трудным условиям существования: социализм надо было строить и в тундре. Но в целом эти люди имели больший шанс выжить, чем многие другие. И лагерное начальство гналось за таким работающим и выносливым «контингентом». И не была ли эта пригодность причиной живучести этого постановления?

Кстати, сами осужденные этого разряда иногда не так уж много лично теряли от этого осуждения — жизнь этих «сермяг» на воле была немногим лучше или легче... Вот тогдашний лагерный анекдот:

— Цыган, какой у тебя срок?

— Десять лет.

— Ого!

— Да ничего — у меня брат в колхозе навечно, и то живет.

Анекдот этот говорит о соотношении лагерной и колхозной жизни достаточно ясно. И это не только анекдот. Да, в лагерях заставляли тяжело работать, но ведь и на воле работа у них была не легче. В лагерях кормили плохо, но зато регулярно. А на воле они питались не лучше, с пятое на десятое. А за попытку добыть кормежку, равноценную лагерной, в лагерь же и отправляли.

Так было не везде? Безусловно. Но там, где так не было, не было и таких «преступников». А их было много — как мы видели. И от этого происходило многое, имевшее серьезные последствия не только для их судеб, но и для всего общества.

А происходило вот что. ГУЛАГ освобождал этих наиболее активных членов своих семей от привычной, естественной и понятной им ответственности за свои семьи, за близких. Как все это постепенно (срок велик!) овладевало ими, смиряло их, как завивалось горе веревочкой — представить не так уж трудно. И многие привыкали к этой «воле», которую открывала неволя. И вообще уже не возвращались домой. И если не к урочьей лихости, то к некоторому волчьему оскалу, к «умри ты сегодня, а я завтра» — привыкали. Естественно, не все. Но многие. Да и кто сказал, что человека можно так испытывать? А что происходило в это в время с их семьями, с их детьми? С теми, от забот о ком освободила их пенитенциарная система? Нет, они тоже не все умерли. Но каким способом, какими путями и с какими навыками они выжили и выросли? Да и другие, глядя на их судьбы и видя такой «закон жизни»?

Авторитет побеждающего хода вещей — великая вещь. Он одинаково развращал и отторгнутых, и оставшихся. Но кому и зачем надо было сеять зерна такого цинизма в простые души? Даже если это было кому-то выгодным в опре-

деленный момент, разве можно было сомневаться в том, какие всходы даст этот посев? Ведь вроде все делалось ради будущего. И — даже если забыть об этом пафосе — ведь вроде возводил Гений всех времен из России вечный памятник себе. Зачем же ее было при этом так тратить?

Многие оправдывали и оправдывают такие вещи традицией. Дескать, Петр на костях таких людей создал свой «баснословный град» (М.Цветаева). И действительно, град до сих пор стоит и радует глаз. Правда, современный царю-преобразователю народ за это неблагодарно называл его Антихристом. Но история этим как бы пренебрегла. И это соблазняет новых честолюбцев к новым дерзаниям за счет крови и страданий подручного населения. И зря. Хорошего понемножку. Какие красоты выросли из уничтоженных или расстроенных жизней этих крестьян?

От случайных лагерных «семей» народонаселение не множилось. А строилось наспех то, что уродливо и быстро разрушается. Страдания этих людей рождали не Петербурги, а грядущий беспредел, всеобщее наплевательство.

Сидевшие «за колоски», о которых знают все, не только прошли как бы незамеченными. Мимо них прошло все — даже реабилитация. А чего их реабилитировать — ведь то, за что их осудили, они в массе своей действительно совершали. Сейчас, наоборот, многие стремятся реабилитировать сталинское государство, которое обращалось с ними как с преступниками.

Но до «сейчас» мое повествование вряд ли дойдет, а до этих мыслей мне еще далеко. А пока я только прибыл вагонзаком в Свердловск и только что там высадился. Как всех вокруг, меня куда-то гонят, не говоря куда. Я еще в собственных глазах щепка, случайно отлетевшая и чуть ли не затерявшаяся при необходимой (для чего?) рубке леса. И как всем вокруг, нет мне ни дна ни покрывки.

Но затеряться никто из нас не может. За нас отвечают люди и инстанции. Все расписано, и скоро обнаружили и дно, и покрывка. Нас всех (не помню, как и где) посадили в грузовики и повезли на пересылку, то есть в Свердловскую пересыльную тюрьму.

Я когда-то ходил по этому городу и тогда ничего о тюрьме не знал, а теперь это единственное место в этом городе, где я могу находиться. Это отнюдь не повышало моего настро-

ения, когда нас везли по его улицам. Обыкновенно заключенных перевозили в грузовиках, борта которых надстроены высокими фанерными щитами, чтобы их не было видно. Приводит это к обратным результатам. Население «лагерных» местностей сразу их узнавало: «Вон, заключенных повезли!» Не помню, были ли борта наших грузовиков надставлены такими щитами, не знаю, видны ли были мы прохожим. Но помню, что мне они были видны. Помню потому, что мне от этого было больно. Саднило. День был погожий, светлый, почти летний, к тому же воскресный. Нас везли по обычным городским улицам, залитым мягким солнечным светом. Было тепло, но не жарко. В такую погоду гулять с друзьями. И люди на тротуарах гуляли: семьями, парами, компаниями — жили. А нас мимо этой жизни — пронесло. Впрочем, и эта жизнь проходила мимо нас, не глядя, не поднимая глаз — в инстинктивной боязни заразиться, приобщиться, вспомнить об этой таинственной и унижительной для всех (даже и не думавших о ней) стороне нашей жизни. Особенно в такой день. Говорю это не с осуждением. Я и тогда людей за это не осуждал, а теперь это и вовсе было бы нелепо. Конечно, тогда я их не осуждал по иным причинам, чем теперь, — я ведь считал, что так и надо себя вести, дабы не отрываться от высоты духа. Теперь же я просто сочувствую им как товарищам по несчастью. Хотя меня везли, а они — гуляли.

Наконец, нас привезли «к воротам тюрьмы», той самой Свердловской пересылки, которая арестантским общественным мнением признавалась чуть ли не лучшей в Союзе. Наверное, так это и было. Во всяком случае, она была благоустроенней, чем Новосибирская, а других я не видел.

Так или иначе, моя принудительная «творческая командировка» продолжалась. Я был очень измотан и процесс водворения в тюрьму помню плохо. В унижительной суматохе первого дня в Свердловске, по мере того как нас в интересах оформления перегоняли с места на место и сортировали, впечатлений было много. Казалось, они смывают одно другое и не фиксируются моим подавленным сознанием. Но что-то все-таки фиксировалось.

Запомнился больше всего почему-то молодой, веселый, разбитной надзиратель, проводивший эту сортировку, весело и ободряюще отдававший свои приказы, как бы выво-

дящие всех из затруднительного положения и наводящие нужный всем порядок. Человек вполне обжился в этом потустороннем мире, он принимал его как реальную среду обитания, но старался — скорее инстинктивно, чем сознательно — не добавлять к лежащей на нас тяжести ничего от себя. Теперь я думаю, что так тогда еще жила вся Россия, оторванная от своих христианских корней, но их еще не забывшая.

И как мог видеть читатель, так же жил и я. Только я еще подводил под это духовно-идеологическую базу, без которой не мог. А можно ли обойтись совсем без нее? Не знаю. Мы все, как лунатики, ходили на грани, рискуя свалиться в яму, вырытую для нас сатаной, как никто, умеющим приспособливаться к «духовным потребностям современности».

Помню, мы долго толклись во дворе тюрьмы, где, собственно, и шла сортировка, где все еще были перемешаны: «пятьдесят восьмая» («политики»), уголовники, бытовики. Уголовных в этой связи я не помню (видимо, при надзоре не проявлялись), «расхитители колосков» куда-то исчезли (видимо, их сразу распознали и увели, приспособили к делу), а из бытовиков помню только «жертв денежной реформы». Той самой, с которой почти совпал мой арест и от которой на моем подоконнике осталась споловиненная банка баклажанной икры. Но и теперь этой реформе было еще только восемь с половиной месяцев — срок для сталинской репрессивной памяти мизерный, — и нарушители ее замысла еще часто встречались на этапах и пересылках.

В основном это были «работники торговли», и преступление их состояло в использовании служебного положения в личных целях — точнее, для спасения собственных «горящих сбережений» (которые, по мысли реформаторов, должны были «честно» пропасть). А конкретно их преступление выражалось вот в чем. Поскольку денежная реформа совпала с отменой карточек на товары и «коммерческих» цен на них, а обмен старых денег на новые был весьма ограничен и во времени и в количестве, с определенного времени все магазины, кроме хлебных, были спешно закрыты «на переучет», который должен был продлиться два-три дня — до тех пор пока старые деньги окончательно не выйдут из употребления. Но этот «переучет» использовали и эти предприимчивые люди. Они задним числом продали

себе и своим знакомым некоторые товары (особенно водку). Пусть даже по коммерческим ценам — но ведь это спасало деньги, которые практически были уже аннулированы. Такое нарушение монополии на мошенничество очень обидело власть (видимо, количества были ощутимы и для нее), и она бросила на этих нарушителей («торгашей» и их знакомых) следственные органы. И вот они оказались здесь, среди «политиков» и уголовников. Помню серьезных и печальных мужчин из какого-то райцентра — так и не пришедших в себя от необходимости страдать из-за такой глупости, и какого-то торгового еврея из Казани, совсем не интеллигентного, но очень делового и напористого, соответственно обстоятельствам. По-человечески я относился к ним с сочувствием — уж слишком не соответствовало преступление наказанию, но все же в моих глазах это было преступлением. Но сегодня у меня и к этому нет четкого отношения. С одной стороны, нельзя требовать неукоснительной честности, когда всех вокруг, и тебя в том числе, грабят. А с другой — использование служебного положения (которого у остальных нет), то есть соблюдение своей пользы за счет других, не имевших такой возможности, — значит все-таки обман.

Короче, прибывший этап, который толочся во дворе пересылки, представлял собой «различных состояний смесь». Но нас, «пятьдесят восьмую», «политиков», направляемых в лагеря и ссылки, а также пересылаемых из лагеря в лагерь, отделили и распределили по двум камерам. Сначала заполнили ту, в которую попал я. В нее же попал и старый большевик Рузер. На его беду, двое ребят, которые взялись ему помочь поднести вещи — первым был радиолюбитель Саша, а вторым, кажется, шофер, — попали во вторую камеру. Ее заводили следом за нами и проводили мимо открытых еще дверей нашей камеры. Так что Рузер видел, как эти ребята, пережившие с ним не только путешествие в вагонзаке, но и пребывание в последней лубянской камере, напряженные минуты перед сообщением о приговоре (и первую оглушенность после этого сообщения), невозмутимо пронесли его вещи мимо него. Он еще ничего не понимал, решил, что они просто его не видят. И закричал:

— Саша! Саша! Сюда, сюда!

Но Саша с приятелем только ускорили шаг.

— Саша! Сюда! Ну куда же ты?

Но Саша с приятелем знали, что делали. Может, они сами и постарались попасть в другую камеру. Или соблазн заработал, когда это произошло само собой. Но к этому моменту они были полны решимости и совсем по-урочьи огрызнулись. И при этом еще, так сказать, подвели идеологическую базу под свою «решимость» — на прощание обозвали своего ограбленного товарища жидом (словно с другим они поступили бы иначе). И тогда Рузер все понял и беспомощно заметался:

— Саша! Саша! Урка ты несчастный!

Конечно, можно сетовать на подлую жестокость этого поступка. На пороге лагеря оставить доверившегося тебе товарища по несчастью, к тому же пожилого человека — Рузеру шел шестой десяток, — без всего необходимого, собранного и уложенного в последний момент плачущей женой — что может быть жесточе и подлей? Это очевидно.

Но поражает то, что это было проделано легко и уверенно. Причем ведь не профессиональными уголовниками, а случайно оказавшимися в беде молодыми людьми. И не так уж низко стоящими на общественной лестнице — наминаю, что Саша был братом офицера, а это звание тогда, после войны, стояло очень высоко. Что-то уже творилось с жизнью.

Боюсь, что слово «урка», брошенное вслед Саше Рузером, для того уже не было оскорблением. Он знал, что его ждут исправительно-трудовые лагеря, хотел в них выжить и, готовясь к ним, «исправлялся» загодя. То, что он недавно пережил, этому не препятствовало. В лубянском кабинете, где люди в погонах, олицетворявшие государство (а происходил он из кругов, где пиетет государства был непреложен), делали все возможное, чтобы выдать его невинное радиолюбительство за шпионаж, ореол честности мог вполне потускнеть. Дескать, так и живем: следователи, чтоб уцелеть, расплатились мной, а я теперь — Рузером. Такой психологический механизм, наверное, и действовал. Но это не оправдание. Через такое облучение абсолютной бесчестностью прошли все, среди кого я жил много лет, а до такого никто больше не доходил. Более того, даже тогдашние следователи, на мой взгляд, выглядят лучше. Попав на свою работу, иногда сдуру, иногда по комсомольской путевке («Родина зовет!»), дальше они уже от себя не

зависели. Он же совершил свое преступление добровольно и по собственной инициативе. Он, еще и не слышав этого речения, уже жил по принципу: «Умри ты сегодня, а я — завтра».

Правда, я не уверен, что выбранный им способ выживания гарантировал ему это... Рузер, несмотря на возраст, дожил до реабилитации (я что-то потом читал о нем), а дожил ли Саша, не знаю. Урки таких новобранцев к себе не очень допускали, пришлось бы долго «шестерить», пресмыкаться. А если что не так — недолго и распрощаться с жизнью. Участь «одинокого волка» — вообще не для советского концлагеря. «Фраера» же в своей среде воров не терпели, подвергали остракизму — и он оказался бы вне круга их общения и взаимопомощи. Эта взаимопомощь была весьма далека от абсолюта, проявлялась далеко не всегда, ее возможности были весьма ограничены, но вне всего этого было совсем плохо. Не говоря уже о том, что среди «фраеров» тогда было много «вояк», и некоторые из них за воровство могли и прибить. Конечно, он мог осознать, раскаяться, просветиться — Бог милостив. Но по-человечески грех его был очень велик.

Об уголовных камерах, именуемых другими арестантами «Индия», «Африка» и «Кто вечно пляшет и поет», я только слышал — самому мне, благодарение Богу, там побывать не пришлось. Но вот пришлось столкнуться с уголовщиной в среде политических. Впрочем, разные случайные люди, какие уж мы были политики?

В первый же вечер я совершил оплошность, из-за которой провел в этой камере целый месяц. Произошло это так. Желаящим предложили поработать на стройке, обещали свежий воздух и дополнительное питание. Я и многие другие согласились — лучше так поработать до отправки, чем прокисать все это время взаперти. И мы записались в рабочую бригаду. Предполагалось, что речь идет о двух-трех днях, пока нас не взяли на этап. Но не тут-то было. Этапные «дела» всех, кто записался, выделили из обычного пересылочного делопроизводства и оставили на месяц — пока не будет кончен объект. Для нас, «следующих на вольное поселение», это стало большим ударом. Конечно, это было самоуправство — с нами, ссыльными, обращались как с зэками. Но защищать свои права было не перед кем. Обстановка

исключала разговоры на юридические темы — сталкивались дела только с исполнителями. Но дело для ссыльных было не только в «правах». Ведь «следовали» мы в Сибирь, и совсем не все равно, когда туда приехать — в сентябре или в октябре. Я попытался исправить эту оплошность, — пустить в ход состояние здоровья. Попросился к врачу, и все вроде вышло — тот действительно освободил меня от работы. Но это не помогло. На работу меня не требовали, но папка с моим «делом» так и осталась отложенной, и весь месяц я проскучал в камере — на этап меня все равно не брали. Впрочем, не совсем проскучал — «пообщался» с разными людьми.

Но перед рассказом об этом я хотел бы кое-что поведать о своем единственном рабочем дне. Это было мое единственное реальное соприкосновением с лагерем. Не с ним самим, с его пограничной периферией, но все же и с его жизнью: тогдашние пересылки во многом — чего те, кто миновал их быстро, могли и не заметить, — были не тюрьмами, как в старое доброе время, а тоже лагерями. Помню я, конечно, отнюдь не все детали этого дня, но кое-что врезалось в память.

Начался этот день с того, что нас вызвали и привели в какое-то помещение, где было много кроватей. На кроватях сидели люди и, кажется, завтракали. Как мне потом объяснили, это была «рабочая камера». В ней (в отличие от остальных, пересыльных) жили те заключенные (чаще краткосрочники), которых это учреждение ГУЛАГа оставило «для себя», в качестве obsługi тюрьмы или для других внутренних работ. Зачем нас к ним завели, не помню — может быть, тоже завтракать. Пробыли мы там недолго, и об этой подробности можно было бы и не упоминать, но с этим кратким пребыванием связан эпизод, о котором грех умолчать.

Где и среди кого я находился, я тогда создавал смутно. И не очень стремился осознать. Единственное, что меня в тот момент интересовало, — это когда нас возьмут на этап. При этом я почему-то решил, что все эти люди тоже едут в ссылку и так же, как мы, решили поработать в ожидании отправки. Но поскольку они прибыли сюда раньше нас, то, наверное, и лучше осведомлены. Вот у них-то и можно что-нибудь узнать. Волею судьбы я оказался рядом с кроватью высокого, крепкого, жилистого мужчины. Как и все во-

круг, он сидел на своем ложе, держал на коленях миску и черпал из нее ложкой кашу, завтракал. Вид у него был серьезный и сосредоточенный. Я обратился к нему:

— Вы в ссылку едете?

Ответ его был с ходу и на убой:

— Нет, я не в ссылку. Это вы, жида, всю войну от фронта прятались — вас и в ссылку. А я всю войну честно воровал! Меня в ссылку не пошлют!

Да, так он и выпалил все это — резко, разоблачительно, не моргнув глазом и без всякой подготовки. На полном серьезе. На его мрачном лице, которое отнюдь не было лицом идиота, способного на такую логику, ни один мускул не дрогнул. Игра была отменной. Только через много лет я прочел у Михаила Демина, что в тогдашней уголовной среде антисемитизма не было. Но и тогда я понимал, что меньше всего этого урку интересовали «жиды». Впрочем, как и война. Почему-то — зачем, не знаю — ему захотелось доставить себе это удовольствие, устроив такое представление. Вероятно, уступая в этом и естественной потребности — сразить фраера. И, надо сказать, ему это блестяще удалось — сразил. Прежде чем что-либо сообразить, я смешался. Он был удовлетворен. Естественно, после этой патриотической филиппики охота что-либо выяснять в этой камере у меня пропала. Да и вряд ли здесь кто-нибудь что-нибудь знал.

Вскоре нас вывели на работу. Где-то на территории пересылки стояло недостроенное одноэтажное здание неизвестного мне назначения, точнее, его деревянный каркас. Это и был наш объект. Работать нам предстояло наверху — устанавливать стропила и перекрытия. Как я помню, работа шла нормально. Может быть, и без того азарта, что в «Иване Денисовиче» (тут все-таки была не сработавшаяся бригада, а случайные люди), но без отлынивания, вполне добросовестно. Людям было приятно находиться на воздухе и заниматься человеческим делом. Рабский труд в экстремальных условиях временами, как это ни грустно, бывает и производительным. Крайний случай. И не только труд на износ под угрозой немедленной смерти, как в гитлеровских концлагерях. Впрочем, в данном случае наш труд был не совсем рабским — работать-то мы вызвались сами. А о том, что нас оставляют здесь на месяц, до окончания стройки, мы до конца этого рабочего дня и не знали.

Что там делал я лично — не помню. Помню, что не бездельничал, подсоблял более умелым товарищам. Но во время этой работы я сделал неприятное для себя открытие — что стал бояться высоты. Боюсь спокойно и даже без ноши пройти по довольно толстой, даже обтесанной потолочной балке первого этажа: ощущаю неуверенность, теряю равновесие. На работе это не сказалось — я передвигался по балке верхом, — но узнать это было неприятно.

Был среди дня еще один эпизод, в котором дал себя почувствовать лагерь. Мы мирно работали, когда неподалеку от нас прошла группа офицеров, направлявшихся в находящееся неподалеку штабное помещение. Как мне кажется, они обратили на нас не больше внимания, чем мы на них. Мы вообще не подозревали, что это нас касается.

Но тут прибежал начальник без погон, который нас на этой работе, как теперь говорят, «курировал», и начал нас возмущенно распекать:

— Вы почему не приветствовали начальника КВЧ (культурно-воспитательной части)?

— Какого начальника КВЧ? Мы его здесь не видели, — возразил один из нас.

— Как не видели! — еще больше возмутился наш куратор. — Тут только что подполковник с офицерами прошел, а вы его не поприветствовали. Не встали даже...

— Да мы ведь не знали, что это начальник КВЧ.

— А это все равно! Если проходит офицер, заключенные обязаны его приветствовать!

— Да мы ведь не знали — мы ведь прямо после приговора. Теперь будем знать.

Куратор заметно смягчился. Человек он был явно не злой. Причинить нам зло он не стремился, больше учил уму-разуму. Но в то же время он был потрясен до глубины души таким нарушением гармонии.

— Какое безобразие! Проходит начальник КВЧ, подполковник, а заключенные не встают!

Вот и весь эпизод. Последствий он не имел. Задержали всю группу на месяц не за прегрешения, а за хорошую работу. Вроде и запоминать его не с чего было. Но вот запомнился. Ибо произвел он на меня тогда самое тягостное впечатление. Даже в армии, где субординация необходима, у солдат, если они заняты работой, приветствий не спра-

шивают. Особенно если начальники направляются не к ним, а мимо них. На Лубянке при появлении любого надзирателя вся камера обязана была вставать. Но именно когда он входил в камеру, а не проходил мимо (даже если дверь почему-либо была открыта).

Угнетала бессмыслица, которой я обязан был теперь соответствовать. Искренность возмущения нашего «куратора»: «Проходит сам начальник КВЧ, а заключенные — не приветствуют!» — и то, что он был совсем не плохим и не злым по природе человеком, ярко свидетельствовала о ставшей бытом потусторонности мира, в котором я оказался.

Ведь это возмущение вызвано было нарушением не столько порядка, сколько требований некой нравственности и красоты. Они были этическим, если даже не эстетическим самосознанием произвола.

Конечно, в таких понятиях я тогда еще не мыслил и по-настоящему этого не понимал. Но почувствовал жуткую укорененность чего-то тупого и жестокого если не в людях, то в порядке вещей, к которому они привыкли. И мне вдруг стало безысходно-тоскливо.

Поразила меня, так сказать, поэзия произвола. Сам же произвол такого впечатления не производил. Местному начальству ничего не стоило задержать нас на месяц, то есть без суда, следствия и даже ОСО дать ни с того ни с сего каждому из нас по месяцу тюремного заключения. Я, правда, по неопытности был сначала очень возмущен, но все остальные — независимо от образования и происхождения — отнеслись к этому как к очередному затруднению. И я тоже — свыкся.

На этом воспоминания о первом и единственном моем лагерном дне кончаются. Впрочем, пока я еще об этом не знаю — объявили, что всех нас оставляют здесь на месяц, только вечером. Тогда я был очень огорчен этой задержкой, считал, что лучше бы ходил на работу. А теперь доволен. С этой камерой связано у меня больше впечатлений, чем со всем остальным моим «нежеланным путешествием в Сибирь». И это неудивительно. Всего я провел в пути сорок три дня. Из них четыре дня — в вагонзаках. Так что тридцать с небольшим дней, проведенных в этой камере, — преобладающая по времени часть всего моего путешествия. На еще одну пересылку, где мне пришлось побывать — Новосибирскую, — остается всего дней девять.

Так что неудивительно, что главным образом обогатило тогда мой жизненный опыт пребывание именно в этой, свердловской камере. Через нее прошло очень много людей, которые либо своими словами, либо судьбой оставили след в моей памяти и сознании. О ней в основном я и буду рассказывать. Хотя и на Новосибирской пересылке я тоже встречал таких людей. И могу за давностью спутать, кого где я встречал. Особой беды в этом нет. Истории моего восприятия действительности — чему посвящена эта книга — это не исказит.

Надеюсь, что мне удастся не свести вместе людей, которые реально друг с другом не встречались. Тем более что характер моего повествования почти исключает такую возможность.

Свердловский узел и новосибирское освобождение

Как известно, свердловский (теперь снова екатеринбургский) железнодорожный узел — один из самых крупных в стране, да и в мире. Естественно, это отражалось и на его пересылке. Отражалось на ней и удобное для этой цели его географическое положение — самый крупный центр на северо-востоке, да и просто на востоке Европейской части, он не только лежал на скрещении многих путей с главной магистралью, но и был окружен лагерями. Поясами лагерей. Короче, пересылка процветала. Сюда привозили и свежеиспеченных эзков из центра, с запада и с юга, и бывалых эзков, перемещаемых многодумным начальством из окрестных и дальних лагерей в другие такие же. А в последнее (как раз мое) время — уже и отсидевшую полный срок «пятьдесят восьмую», направляемую в ссылки вместо освобождения. Туда же препровождали и их товарищей, отпущенных чуть раньше и взятых уже с воли — «повторников»*. Короче, людей, познакомившихся на личном опыте

* О «повторниках». Тогдашний министр ГБ Абакумов (по подсказке Сталина или угадывая его волю) предложил «пятьдесят восьмую» не освобождать, а тех, кого уже освободили, вновь арестовать, отправив и тех и других, как людей опасных, в ссылку под гласный надзор МГБ.

с «оборотной стороной» советской истории (я и сам тогда думал, что это только сторона), там увидеть можно было многих.

И я смотрел. И разговаривал. С любопытством, с интересом, но без цели. Задачи запомнить и сохранить я перед собой не ставил. Зачем? Как человек передовой я «прекрасно знал», что все тайны, как только отпадет в них нужда, будут и без меня раскрыты партией — отчего трагичность и величие «нашего пути» засияет еще ярче. Короче, меньше всего я тогда думал о мемуарах — просто так общался. И потому, что просто тянуло к людям. И просто потому, что мне-то все это было очень интересно. Конечно, прежде всего подлинная история партии — к этому, несмотря на мой несокрушимый сталинизм, интерес я питал жгучий, — но меня тянуло и просто к людям.

Внешне моя жизнь определялась тем, что я застрял в Свердловске и с нетерпением ждал отправки в Новосибирск, где собирался выйти на свободу. Естественно, меня это очень занимало и волновало. Но о чем тут рассказывать? Самым интересным в моей тогдашней жизни были люди, встречи с ними и разговоры. Безусловно, они повлияли на мое внутреннее развитие, но случилось это не тогда, а позже. А тогда процесс моего самосознания был слишком подспудным, чтобы теперь стать сюжетом.

Так что рассказывать я буду только об отдельных людях и судьбах. Картина от этого может получиться слишком дробной и мозаичной. Но я убежден, что и она дает реальное представление об этом фантастическом времени. К тому же воспоминания о пересылке в Свердловске путаются у меня с воспоминаниями о пересылке в Новосибирске, о которой тоже пойдет речь в этой главе. За давностью лет я могу перепутать, где с кем встречался. Но здесь это не так уж важно.

Итак, люди. При всем том, что люди в нашей камере были разные, у них было и нечто общее — то же, что на Лубянке. Никто из них (кроме случайных уголовников) ни при каких обстоятельствах не должен был быть ни судим, ни находиться в тюрьме. Очень большой процент среди них составляли тогда жертвы «тридцать седьмого года». Вопреки распространенному представлению — мне уже приходилось писать об этом — бывших партийцев, оппозиционеров и

начальства (перед советским режимом уж точно не виноватых) было среди них не больше, чем процентов десять—пятнадцать. Конечно, многие из таких до этого погибли, расстрелянные еще в тюрьмах или потом на всяких «кирпичных заводах» во время гарантинско-кашкетинских отстрелов 1938 года. Но если бы и они уцелели, процент партийцев среди нас (в большинстве они тоже не имели отношения к политике) все равно бы не дошел до двадцати. Остальные «политики» вообще не имели отношения не только к политике, но и к партии.

Вот, например, очень мне симпатичный Владислав Иосифович Вильневшиц. Володю (так его звали окружающие) я потом знал хорошо. В ссылке (где он и умер — задолго до старости) мы жили пусть не в одной деревне, но в одном районе и временами встречались, относились друг к другу вполне дружески. Но познакомились мы в этой камере. В партии он никогда не состоял, политикой не занимался. Просто служил судовым механиком в Дальневосточном пароходстве. Получил он, однако, десять лет за контрреволюционную деятельность и относился явно к «набору тридцать седьмого года». История его одновременно и удивительна, и показательна.

Однажды, когда его судно вернулось из Японии во Владивосток, на борт поднялись два энкавэдэшника, предъявили ему ордер на арест и увели. Он терялся в догадках — с чего бы это могло быть, что бы это могло значить, — и с нетерпением (как миллионы других в его положении) ждал первого допроса, на котором все должно было выясниться. Ждать пришлось недолго — его вызвали в тот же день. Но допрос оказался неправдоподобно коротким. Вот почти точная его стенограмма (в передаче Володи):

- Фамилия?
- Вильневшиц.
- Имя-отчество?
- Владислав Иосифович.
- Год рождения?
- 1902-й.
- Национальность?
- Поляк.
- Родственники в Польше есть?
- Есть.

- Переписываетесь с ними?
- До 1930 года переписывался, а потом переписка заглохла.
- Почему?
- Да как-то не люблю писать писем. (Это правда. В 1930-м «переписка с границей» еще не была криминалом. — Н.К.)
- Распишитесь.

На этом допрос закончился, и ошеломленного, по-прежнему ничего не понимающего Володю Вильневшица (а понимал ли что-нибудь сам следователь?) увели в камеру. Он с нетерпением ждал утра и следующего допроса, чтоб хотя бы узнать, в чем его обвиняют — ему ведь и слова худого еще не сказали. Не дождался. Минуту утро, день, вечер, прошли следующие сутки, неделя, месяц — его никто не вызывал и ничего не говорил. Только месяцев через шесть его вызвали, и почти полностью повторился первый допрос, — но в отличие от прошлого раза, перед тем как сказать: «Распишитесь», его ознакомили с постановлением Особого совещания — десять лет за контрреволюционную деятельность (КРД — одна из распространенных «буквенных» статей).

— Позвольте! Не может быть! Это ошибка! — чуть не взвыл от боли и удивления Володя. — Меня ведь ни в чем не обвиняли.

— Как ошибка? — удивился объявитель приговоров. — Вильневшиц?

- Вильневшиц.
- Владислав Иосифович?
- Владислав Иосифович.
- Год рождения 1902-й?
- 1902-й.
- Национальность — поляк?
- Поляк.
- Какая же ошибка? — вразумляюще произнес объявитель. — Сами видите, ошибки нет. Все правильно.

Действительно, все было правильно. Что, кроме установочных данных (а все, о чем спрашивали Володю, на миллионном языке называлось «установочные данные»), могло понадобиться правосудию для того, чтоб считать человека обвиненным, обвинение доказанным, а приговор «десять лет лагерей» — юридически оформленным? Так това-

риц Сталин воспитывал аппарат и народ. Страна, прошедшая через такое, уже не может быть здоровой страной.

Однако Володя Вильневшиц сакральности приговора рабоче-крестьянской власти, в отличие от многих, не признал и из лагеря сбежал. Смог он это сделать потому, что взяли его на этот бал с корабля, а паспорт у него, как тогда у всех моряков дальнего плавания, оставался дома (в последующие годы, уходя в плавание, моряки обязаны были сдавать в отдел кадров), и о нем не вспомнили. Володин брат (виновный в том же, в чем и сам Володя, но оставшийся «неразоблаченным») привез Володе этот паспорт и ухитрился его передать. С этим паспортом Володя и бежал. И прописавшись по этому паспорту в Москве, он под своим именем прожил там год — под всесоюзным розыском. Целый год не могли разыскать сталинские чекисты легально прописанного человека! Однако через год его все же разыскали.

Однажды, в обеденный перерыв, к его столу в столовой подсел незнакомец и, когда Володя отобедал, осведомился:

— Все?

— Все, — удивился Володя.

— Да, теперь все, — согласился незнакомец, — мы целый год тебя искали, а теперь — все. Пошли.

И Володя опять оказался в лагере. Теперь с довеском — два, кажется, года добавили за побег. Но они не сработали — статья подпадала под амнистию в честь Победы, и эти два года ему все равно скостили.

Потом сталинская фемида стала остроумно квалифицировать ординарный побег из лагеря как саботаж — статья 58/14. А в «пятьдесят восьмой» при жизни Сталина ни один пункт ни под какие амнистии подпасть не мог. Вот и возлежали теперь на нарах в политических камерах пересылок татуированные «саботажники» — урки, осужденные по этой «фраерской» статье. Были они и в нашей. Но было их немного, и погоды они не делали. Атмосфера в камере не была уголовной. Более молодой из них даже сокрушался по поводу того, что — еще б несколько стоящих ребят, и они бы всю камеру обработали. На нашу неограбленную камеру он смотрел почти так же, как нормальный крестьянин на землю, которая зря пропадает. Впрочем, я думаю, что он ошибался. Урки могли буквально раздеть целую камеру,

потому что камера, как правило, была деморализована, а они всегда были «двое против одного» — остальные молчали. Но здесь был не тот контингент.

Впрочем, сам я свидетелем какой-либо попытки такого «раздевания» не был, и вообще об уголовниках мне рассказывать почти нечего — слишком мало я с ними соприкасался. Об этом я, конечно, не жалею, но все же сознаю, что это пробел. Они тоже имеют отношение к тому, из-за чего я стал писать эту книгу. В судьбах многих из них тоже сказалась исковерканность нашей истории. «Хевра» тогда состояла отнюдь не только из тех, кто был криминален по складу личности. Много к ней примкнуло и просто жертв «героического» политического творчества партии — например, детей раскулаченных, сбежавших из «спецпоселений» от голодной смерти и не нашедших иного пристанища. Но ни по виду, ни по поведению они не отличались от остальной «хевры», и знаю я о них только из книг и с чужих слов.

Впрочем, с одним парнем, реально совершившим тяжелое уголовное преступление, даже два, я сошелся более близко. Но он не был в этом смысле типичен. Он не был ни криминальным по складу личности, ни жертвой социальных потрясений, а был просто человеком с несчастной судьбой. Ему хотелось выговориться перед нормальными людьми, почувствовать нормальное человеческое понимание и сочувствие. И есть у меня потребность рассказать о нем. Да, он не был прямой жертвой социальных потрясений, но часто эти потрясения становятся возможны только потому, что есть такие люди. Ведь речь идет о явно хорошем человеке — симпатичен он был не только мне. Но и удивлял он всех тоже — причудливостью своей судьбы. Хотя судьбы, может, как раз и не было. Но душа у него была. Звали его Петя.

Родом Петя был из какого-то городка в окрестностях Тирасполя, до 1940 года столицы Молдавской автономной республики, входившей в состав Украины. Разумеется, республика эта была создана с целью политической демонстрации — ведь Советский Союз никогда не признавал Бессарабию румынской территорией. В шестидесятые годы, когда почти все молдавское начальство в Кишиневе составляли выходцы из этой, левобережной части, «национально настроенные» молдавские интеллигенты уверяли меня, что Левобережье вообще не Молдавия, и молдаване там если и

есть, — не настоящие. Сегодня они ни за что не согласны с его отделением, а некоторые даже хотят присоединить его вместе со всей остальной Молдавией к Румынии. Приднестровье прочно вошло в состав молдавского патриотизма.

Я не разбираюсь здесь в перипетиях Приднестровского конфликта. Просто я, рассказывая о Пете, должен отметить, что то обстоятельство, на которое упирали национально настроенные и которое теперь они же стремятся затушевать — а именно, что там этнический состав населения в основном немолдавский, — чистая правда.

Петя (дома его звали Петро) не был молдаванином, а был украинцем или русским, что его самого ничуть не занимало. Он был жителем южного города — говорил и по-русски, и по-украински, и еще на смеси этих языков — как придется, и был в этом смысле типичным средним представителем городского (точнее было бы сказать — слободского) населения юго-запада нашей общей недавно Родины.

Он воевал, и воевал, судя по всему, хорошо, вернулся с войны офицером. Вероятно, и членом партии. И его сделали районным начальством — заведующим райконторой «Заготскота». Так что никакой крайности, никакой безвыходности в его положении не было. И не это его толкнуло на преступление. Просто душа жаждала чего-то еще. Приятели его, в основном такие же фронтовики и отнюдь не профессиональные уголовники, тоже где-то работали, но и их души чего-то жаждали. И не находили утешения этой жажды ни в чем, кроме как в компании и выпивке. Естественно, такое утешение духовной жажды требовало все больше и больше денег, деньги же не прибывали, а иссякали.

Но тут появился Петя и получил свое высокое назначение. К его несчастью, это назначение связано было с правом распоряжаться двумя грузовиками, приписанными к райконторе. Не знаю, кто первым почувствовал, какие возможности открываются в связи с этим назначением, только думаю, что не сам Петя. Он действовал за компанию. В чьем-то многомудром мозгу сам собой возник план использования этих грузовиков на пользу обществу, только в данном случае обществу приятелей. Дела этого общества решено было поправить путем ограбления колхозной птицефермы. К ней предполагалось подъехать среди бела дня на упомянутых грузовиках, связать обслугу и увезти кур. Так

Петя, предоставлявший грузовики, ничтоже сумняшеся оказался в центре преступной операции. Но о последствиях он не думал. Он был человек компанейский.

Сделали как задумали. Операцию провели в выходной день, когда в гараже не было шоферов. Подъехали к птицеферме, стоявшей где-то на отшибе, надели приготовленные маски, и грозя оружием (было у них и оружие), связали всех, кто там был, а кур погрузили в машины и увезли. Проявили фронттовую сноровку. Все продумали, кроме одного — куда девать свои трофеи? Как реализовать столько кур? Товар ведь кудахтающий и скоропортящийся. Не нашли ничего лучшего, как продавать их на местном базаре. Ну и, конечно, попались. Явилась в контору «Заготскота» милиция и увела ее незадачливого начальника. Приводят его в милицию, а там, в кабинете следователя, сидит жена одного из участников операции. Задержали ее на базаре, она там торговала этими курами. Курами торговать не запрещалось, но то ли слишком много их было, то ли слишком часто появлялась она с ними, но что-то в ней показалось подозрительным, и ее арестовали. Видимо, к тому времени, как привели Петю, она «раскололась» полностью.

— Цэ хто? — спросил ее следователь, указывая на Петю.

— Цэ Пэтро, — с готовностью отвечала подельница.

— А шо вин робыв? (А что он делал?)

— Курям головы одвэртав.

Получил Петя пятнадцать лет по статье 59/3 — за вооруженный бандитизм. Можно иметь разные мнения об адекватности наказания, но в квалификации преступления сомневаться не приходится.

Петя и сам не сомневался. Понимал, что затянуло. Но скоро затянуло его еще глубже. Опять за компанию. Вот как это случилось.

В ожидании отправки содержался Петя в Тираспольской тюрьме. Сидел он в камере со своими подельниками или просто «коллегами» — не знаю. Но они договорились между собой. И во время очередного обхода камер начальником тюрьмы произошло следующее. Когда начальник с охраной, ничего не подозревая, вошли в камеру и стали задавать вопросы, изготовившиеся заключенные со всех сторон напали на надзирателей, разоружили их, скрутили и с отнятым оружием в руках вырвались из тюрьмы — бежали. По компанейству участвовал в этом нападении и Петя. И бе-

жал со всеми. Хотя куда ему было бежать? — жить без паспорта он не умел, а уголовных связей у него почти не было. Впрочем, поймали всех. И теперь Петя стал уже рецидивистом. Но на этот раз посадили его не в Тираспольскую тюрьму МВД, а отвезли в Кишинев, во внутреннюю тюрьму республиканского МГБ. Ибо официально теперь он уже обвинялся в саботаже, по статье 58/14 — стал политическим. По этой статье он и был дополнительно осужден. И получил по совокупности двадцать пять.

Саботажем его поведение, конечно, именовать смешно, и я не знаю, разумен ли срок, который ему дали. Может, и разумен — в Америке, например, по совокупности могут дать и сто двадцать. Но важно другое — он совершил второе очень тяжелое уголовное преступление: участвовал в коллективном нападении на персонал тюрьмы, в коллективном побеге, сопряженном с насилием. Ни в одной стране за это не хвалят и по головке не гладят. По любым законам и представлениям он был теперь явным уголовником-рецидивистом и, может быть, даже особо опасным.

Так что побывал Петя и во внутренней тюрьме. Его воспоминаний о ней я не помню. Видимо, они не отличались от того, что все мы знали сами. Хотя взаимоотношения Пети с «политиками» представляли бы определенный историко-психологический интерес. Как имеет его тот единственный эпизод, который мне запомнился. Касается он сокамерника-баптиста, сидевшего «за веру», — как уважительно пояснил Петя.

Баптист этот очень увещевал окружающих, особенно Петю, уговаривал покаяться и т.п. Всему этому Петя внимал с живым любопытством и почтительной безучастностью, полагая, что эта премудрость не для него. Но эпизод этот связан не с увещеваниями, а с передачами, которые получал этот баптист от своей общины, не покидавшей своего собрата и в заточении. Передачи были богатые, и баптист щедро делился полученным с сокамерниками. Стесняющимся объяснял, что для того и послано. Однажды он даже предложил союзникам сказать ему, что они хотели бы получить с воли. Он попросит, как для себя*, и братья пришлют.

* «Как для себя» — потому что передачи «для других» в тюрьмах МГБ не принимались — принимались только от близких родственников близким родственникам. Вероятно, и богатые посылки Петиного баптиста передавались общиной через его близких родственников.

Эти слова Петя вспоминал не только с благодарностью, но и с восхищенным удивлением. Ему было приятно, что на свете бывает и такое. Правда, с готовностью выполнить любые просьбы союзников вышла заминка. Страдающие от недостатка курева сокамерники прежде всего попросили папирос и табаку, и баптист, смутившись, вынужден был им в этом отказать. «Что угодно, только не это!» — взмолился он. Петя отнесся к его отказу с пониманием. Правда, понял его ситуацию несколько по-своему: «А ему табак просить нельзя. Если попросит, его на хрен с веры выгнать». Представление о вере как о чем-то, откуда можно «на хрен выгнать» (и быть выгнанным даже невыгодно — такие передачи!), несколько своеобразно. Но поразила его не «невыгода», на этом его внимание не сосредоточивалось, а, наоборот, то, что к своим строгим требованиям община относится всерьез, без дураков, что все же где-то у кого-то остается нечто прочное, не зависящее от корысти и потребления. С таким отношением я встречался часто. Это сказывалась смутная, неосознанная ностальгия по причастности к высшему началу.

В Петиной повадке вообще не было ничего от уголовного. Лицо у него было доброе, какими вообще часто бывают лица физически очень сильных мужчин. Он и впрямь производил впечатление физически очень сильного человека. Был высок, плечист, и лицо его тоже было крупное, но в выражении его было что-то детское. Он вроде и сам не мог взять в толк, как такое с ним произошло, как из заслуженного человека, боевого офицера, он вдруг в короткий срок превратился в несомненного уголовного. По-моему, он отчасти был даже рад политической статье, потому что она предоставила ему возможность находиться среди нормальных людей и нормальных нравов. К «своим» его явно не тянуло.

То, что он испытывал, было даже не раскаянье, а удивление. Как будто все, что он проделал, происходило не с ним и не затронуло его, но вот — такой странный результат.

Вероятно, отразилось на Пете и быстрое разрушение уклада, крестьянского или мещанского, в котором жили его родители, где существовали строгие нормы поведения и безнаказанно распускаться не мог никто. Может быть, вдобавок как-то сказалась и принудительная псевдодухов-

ность сталинщины, обязывавшая поклоняться, но ничью душу по-настоящему не согревающая и не заполняющая.

Но это ничего не смягчает. Ведь облучались этой атмосферой все, но отнюдь не все доходили до грабежа птицеферм. Для того чтобы до этого дойти, чтобы до этого упасть, нужен был, наверное, определенный изъян в личности. И, видимо, в Пете этот изъян наличествовал. Нет, в нем не было ничего, изначально располагающего к криминальному выбору. Но, видимо, не было и ничего, что бы этот выбор исключало. Эта способность под влиянием обстановки думать и делать что угодно, в том числе и то, что данной личности в принципе претит, и испытывать потом удивление, словно делал это не ты, — свойство очень опасное. В разной степени оно присуще многим людям. В годы потрясений это свойство выходит наружу, и они «грабят награбленное», бьют жидов или буржуев, совершают тьму низостей, а потом ругают за это кого угодно, но только не себя (себя в лучшем случае журят). Не то чтоб они все забыли, они даже жалеют о содеянном, но просто не ставят себе это в счет. Их затанули или затануло, но сами для себя они невиновны. Теоретически все так. Но живые впечатления не всегда соответствуют теории, и я все равно вспоминаю этого запутавшегося парня с симпатией и сочувствием.

Хотелось бы узнать, как сложилась дальше его судьба. Но это и несколько боязно — страшно представить, куда в условиях лагеря могло занести этого до сих пор симпатичного мне, тогда еще молодого человека. Может, и не имевшего особого отношения к моей жизни, но тем не менее как-то запавшего в мою душу.

Естественно, большинство людей, прошедших за месяц с небольшим через обе камеры — свердловскую и новосибирскую, — уголовных статей не имели и за побег в саботаже по статье 58/14 не обвинялись. Впрочем, многие были вообще без статей.

Я не имею в виду осужденных по буквенным статьям: по уже упоминавшейся КРД или по — того похлеще — ПШ («подозрение в шпионаже»*), которая ни на какой формализованный юридический язык не переводится. Были и дуб-

* Непонятно, зачем она появилась — какие такие могли быть «подозрения», когда на тех же основаниях (на том же их отсутствии) давали и полноценный шпионаж. Но когда кругом вакханалия, логика молчит.

лирующие — например, АСА (антисоветская агитация), которая вполне заменялась «ширпотребной» 58/10. По ней давали все те же десять лет. Эта идентичность сбивала с толку, и на пересылках происходили комичные эпизоды. Особенно когда оба — и заключенный, и надзиратель — были малограмотны. Я был свидетелем такой сцены.

Шла переключка. Все шло правильно: вопрос—ответ. И вдруг:

- Иванов!
- Я.
- Инициалы!
- Иван Федорович.
- Год рождения.
- Девятьсот восьмой.
- Статья!

На статью вышла заминка.

— АСА! — отозвался заключенный. Как привык.
— Статья! — повторил надзиратель громче, думая, что ослышался. Но, услышав во второй раз то же самое невразумительное «АСА», рассердился:

- Статья — я тебе говорю! Статью называй.
- Так я ее и называю — АСА.
- Кака тебе еще оса! Статью давай говори!
- Так не оса, а АСА — антисоветская агитация.
- Срок!

Срок неизменно оказывался правильным, и надзиратель успокаивался. Все же и человек, и срок были на месте. И только вразумлял:

— Пятьдесят восемь/десять у тебя статья. А то оса кака-то...

И переключка продолжалась.

Но имею я в виду не это, а тех, у кого не было и таких статей.

Однажды в камеру внезапно ввалилась большая группа заключенных, в основном крестьян. С мешками и вообще во всем домашнем. Ясно было, что они не из лагеря.

— Вы кто такие? Откуда? — спросил кто-то из старожилов.

- Курские мы, — прозвучал исчерпывающий ответ.
- Соловьи, значит?

Против «соловьев» они не возражали. Надо сказать, что они вообще не унывали.

Вина их была связана с пребыванием в оккупации (у некоторых — в плену), но была неопределенной. В основном это были люди, которых немцы мобилизовывали в обозы и на другие временные подсобные работы. В прямом сотрудничестве с врагом («измена родине») их не обвиняли, но, видимо, было сочтено, что они не проявили должной самоотверженности. А может, просто сочли их перемещение хозяйственно-целесообразным, а для основания утилизировали этот якобы недостаток самоотверженности.

Взяты они были прямо с воли, их не подвергали допросам, даже не пропускали через ОСО, а просто объявили решение, что за недостаточно патриотическое поведение во время войны их отправляют за Читу, на прииски в Бодайбо, где они честным трудом могут вернуть себе доверие Родины. Точного текста того, что им объявили, я, конечно, не помню или просто не знаю, но реконструируется он приблизительно так.

Так что мужики и не унывали. «Честного труда» они не боялись, потому что с малолетства только им и занимались. А прослышали они, что там, на Бодайбо, в отличие от горевых послевоенных курских колхозов, за этот «честный труд» платят не «палочками» в ведомостях, а живыми деньгами, и порой даже немалыми. Так с чего им было унывать? Они рассчитывали там обосноваться, выписать семьи и зажить гораздо лучше, чем дома. Скорее всего, так и получилось.

Кстати, так же производилось заселение Крыма после выселения оттуда татар. Туда в принудительном порядке и в виде мягкого наказания переселили столь же проблематично провинившихся во время войны колхозников из южноукраинских и южнороссийских областей. Великий вождь никак не мог простить людям, что они по его вине оказались в оккупации.

Помню, как летом 1947-го пассажирский автобус застрял на горном шоссе возле усадьбы, где такая переселенка (кажется, из-под Мариуполя) яростно воевала с землей на «своем» участке. От нее я и услышал впервые об этом мероприятии — оно не афишировалось. Кто-то спросил ее, как живется им в таком красивом курортном месте. И вот что мы услышали в ответ:

— Та хай воно сказытсья, це красывэ мисто. Чы ж сами не бачытэ — хйба ж цэ зэмля? Це тилькы кажуть: «зэмля»!

Цэ ж сама камэнюка, а нэ зэмя! И шо з нэю робыць, з клятою, хто б сказав?

А в это время в Сибири и Средней Азии об этой «клятой» земле, как о недоступном рае земном, тосковали насильно оторванные от нее крымские татары. Которые очень хорошо знали, как с ней надо обращаться, чтобы быть ей благодарными.

У «курских соловьев» настроение было другое. Хотя в Бодайбо земля была не в пример суровой, чем в горном Крыму. Но ведь не землю же обрабатывать им там предстояло. И не к земле они теперь примерялись.

Так раскрестьянивали страну. Так — каждый раз тотально («любой ценой») — тратили ее гигантский потенциал, ее тело и душу, на решение «ближайших» конкретных частных «очередных» задач на всех «этапах большого пути» к «заветной цели». О том, что значила эта цель даже для тогдашних руководителей этих «трат», здесь уже шла речь неоднократно. Просто работала дьявольская машина.

Но, веря в свои приисковые перспективы, насчет положения общих дел «соловьи» не заблуждались. Рядом со мной на нарах поместился один пожилой, по моим тогдашним представлениям, мужик, с которым у нас установились теплые, доверительные отношения. Однажды вечером он мне сказал:

— А середь наших, Наум, тоже есть один — в рифму складно говорить. Про что хочешь... Эй, слушай, малый, — обратился он к высокому худошавому мужику с длинноватым лицом и глазами немного навывкате, — скажи что-нибудь складно, пусть Наум послушает.

Соседа поддержали другие «соловьи». Проявили любопытство все. «Малый» отозвался. Его лицо не выразило никакого затруднения или удивления. Но ломаться он не стал. Только спросил:

— А насчет чего сказать-то?

— Ну, хоть про то, что... как это нас у Читу везуть.

«Малый» ничего не ответил, на секунду задумался и произнес:

Усю курскую нишяту
Повезуть ув эту Читу.

Ситуацию, в которой оказался он сам и большинство его товарищей, эти две строки выражали вполне адекватно.

Причем возникли они мгновенно, на глазах у аудитории. Ее восторг и удивление были безмерны. Но и мастер привычно принял это как должное — его лицо осталось столь же безучастным, как и до этого. В принципе за такое художество полагалась тогда ширпотребная 58/10 — обнажение реальности называлось «клеветой на советскую действительность» и было преступлением. Но «соловьи», как и многие крестьяне в те годы (о чем позже), об этом не догадывались — не укладывалось это в их естественном сознании. К счастью, «наседок» в камере в тот момент, видимо, не было. Этапы органами в этом смысле вообще обслуживались плохо. Но и то сказать — трудно было наладить четкую работу при такой текучке.

Впрочем, среди соловьев не все были крестьяне. Видимо, в Курске (про другие места не знаю — может, оттуда везли не в Бодайбо) была получена какая-то разнарядка, и по ней подметали всех, кого хоть как-то можно было подвести под некий «признак». Подвели под него и ленинградского студента, точнее, учащегося техникума (кажется, оптического). Он, правда, ни в какие обозы не мобилизовывался, просто побывал (короткое время) в плену. А с пленными вообще была неразбериха. Просто за пребывание в плену как будто не сажали. Был даже официальный «Комитет советских военнопленных». Но многим шили сотрудничество с врагом, шпионаж и что угодно. Поэтому затыкать ими любые такого рода «разнарядки», «контрольные цифры» (не знаю, как это у них называлось) было весьма удобно — все они изначально относились к подозреваемым.

Между тем в плену этот парень действительно побывал, но, как уже говорилось, недолго. И самоотверженность проявил вполне достаточную. Немцы завезли его далеко — во Францию, но там он из плена бежал, примкнул к партизанам, воевал в «маки». Никакой вины перед Родиной он в связи с этим, естественно, не чувствовал. Тем более не думал о ней, собираясь к родителям на каникулы. Приехал, а тут пришла разнарядка — и сработала категория «был в плену». К нему явились, взяли его — и в общую кучу.

Парень этот был крепкий, явно умелый, работы никакой не боялся, и физически Бодайбо ничем ему не грозил. Но, в отличие от большинства «соловьев», он жестоко страдал от такого поворота своей судьбы. Страдания его были моральные. Он был оскорблен.

— Я добровольно рисковал жизнью, чтобы оставаться человеком, а со мной обращаются как со шкурником.

Не думаю, что под шкурниками он разумел «курских соловьев», с которыми вместе следовал в Бодайбо. Безусловно, «соловьи» во время оккупации героизма не проявляли: мобилизовывали в обоз — являлись. А что им было делать? Не явиться и быть расстрелянными? То есть жизнью заплатить за то, что, живя в центре России, откуда, по Гоголю, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь», они благодаря властной некомпетентности Сталина оказались оккупированными. Не говоря уже о том, что и пережитое ими по вине государства в довоенные годы вообще не могло расположить их к такому самопожертвованию под его знаменами*.

Разумеется, тогда я был далек от такого — сегодняшнего своего — понимания вещей. Моя романтическая требовательность к людям оставалась непоколебимой. Твердой как лед. Но «в частных случаях», другими словами, при соприкосновении с живыми людьми, она таяла. Тоже как лед. Например, назвать даже мысленно «соловьев» шкурниками мне тогда и в голову бы не пришло. Людей и их судьбы я чувствовал.

И хотя «диалектика» исключала такую ценность, как «хороший человек», подменив его понятием «полезный» («исторически-прогрессивному» делу, конечной цели и т.п.), но выветрить этот критерий из человеческих отношений невозможно. Я, конечно, считал, что «мыслю шире», чем эти «соловьи» (истинность чего в отношении меня тогдашнего тоже весьма проблематична), но не ощущал себя существом лучшим или более умным, чем они, или понимающим лучше их, как им следует жить и какими быть. А мое передовое мировоззрение? Оно помалкивало, отложенное до лучших времен.

Конечно, этот парень из «маки», произнося слово «шкурник», не имел в виду этих «соловьев». Оно к ним подходило не больше, чем, допустим, «идеалист». Он просто был оскорблен до глубины души тем, что с ним обращаются так,

* Это никак не отменяет народности сопротивления. Происходило оно по многим причинам. В значительной мере это заслуга другого «гения» — Гитлера, вынудившего народ сопротивляться. Немцев по его вине не навидели и власовцы (РОА).

словно он — не он, а кто-то другой, и при этом чуждый ему. Я его хорошо понимал. У меня не было его заслуг, но я испытывал те же чувства — тоже был оскорблен до глубины души родной и любимой властью.

Я и сегодня не склонен относиться иронически не только к его чувствам, но и к его самосознанию. Он, как и я, был представителем поколения, усвоившего с детства, что героизм — норма поведения. Это не значит, что все это поколение состояло из героев — не всем людям удастся соответствовать своим представлениям о должном (мне, как известно читателю, это во время войны не удалось), но тот парень вполне соответствовал моим и своим собственным идеалам. Причем идеалам, официально внушаемым. А его — по морде грязной тряпкой.

Впрочем, ему еще повезло. Галя Якубская, о которой шла речь в первой книге и которая благодаря этой публикации нашлась, рассказала о таком эпизоде. Будучи вывезена немцами в Германию в качестве «остарбайтера»*, но настроенная вполне комсомольски, она в последние дни войны, воспользовавшись неразберихой в немецком тылу, убежала из своего лагеря и пошла навстречу советским войскам. Вместе с ней ушли двадцать молодых офицеров, содержащихся в лагере военнопленных где-то рядом. Их отговаривали, страшали (правдой, которую уходящие считали враждебной пропагандой), но ничего не действовало — они пошли навстречу «своим». Настроение было торжественное.

Но у Сталина «своих» не было. По прибытии они все были препровождены в Киев, судимы и расстреляны. Галю спасло то, что она сохранила свой комсомольский билет. Видимо, симпатизировавший ей следователь (они ведь тоже были разными) смог на этом сыграть. Галя вышла на свободу, но никогда не простила гибели своих спутников, о которых она знала, что это прекрасные и чистые люди.

* Так что она не уехала добровольно, выйдя замуж за венгерского офицера, как сказано у меня, а была вывезена в Германию насильно. И вообще, как видно из текста, оставалась комсомолкой. А замуж вышла только после войны. И действительно за офицера, только не венгерского, а советского. Эти неточности — следствие неверной информации, которой я располагал. Иногда полезно писать мемуары. Оказалось, что и в моих детских впечатлениях о ее семье не все верно. Она не имела никакого отношения к семье Саксаганского (просто ее мать случайно сняла комнату у них на даче), и отец ее был русским, а не украинцем.

«За что их было расстреливать? Ведь те, кто был настроен враждебно, не возвращались», — с неостывшими за столько лет возмущением и удивлением писала мне она. Но как можно удивляться, если в основе государственной логики помимо имитации бредовых идей — и даже перекрывающая ее — лежала паранойя?

Действительно, почему расстреляли? Ведь расстреливали не всех пленных, даже не всех власовцев, многих, как здесь уже упоминалось, и в лагеря не помещали — жили на вольном поселении. А этих, шедших навстречу «своей» армии, расстреляли. Почему? Нормальная логика тут неприменима. Но и МГБ, и СМЕРШ* формировались и воспитывались Сталиным и были приучены угадывать его параноическую волю и вкусы и им угодать. И этим органам передались его подозрительность и недоброжелательство к людям, способным к самостоятельным решениям и поступкам, даже к несанкционированному (никем не порученному) героизму. А эти совершили поступок несанкционированный, да еще коллективный — как же их терпеть! Такие люди руководящим эмгэбистам — если учитывать образ их жизни и деятельности — и самим должны были быть искренне неприятны. Ведь они (гэбисты) рекрутировались из тех, кто способным на такое и показаться не мог.

Разумеется, эти объяснения слишком рациональны — могло и пронести. Но я знаю достаточно случаев, когда не пронесло. Так что моему приятелю еще, может быть, и повезло, что его зацапали по разрядке, в общей массе — при внимании к его реальным заслугам дело для него могло кончиться гораздо хуже. Сталинщина ценила энергичность и даже активность в исполнительстве, но не выносила никакой самостоятельности, а тем более спонтанной самоотверженности — даже в «правильном» направлении. Я это тогда понимал смутно, а он не понимал совсем.

Между тем людей, способных на самоотверженное служение, было тогда в нашей стране еще очень много. В его судьбе наиболее ярко воплотилась трагедия той самой «веры

* Да не рассердится на меня уважаемый и любимый мной прозаик В. Богомолов — я не отрицаю, что в СМЕРШе служили и те, кто занимался противником и его агентурой (все же шла война). И не сомневаюсь, что он лично относился именно к таким. Но ведь были в СМЕРШе и подразделения, занимавшиеся не противником, а своими, — я встречал многих, кто испытал это на себе.

и доверья» (Д.Самойлов), которые были сутью «советских поколений», о чем уже шла речь, и что безбожно эксплуатировали большевизм и — совсем уж цинично — сталинщина.

Помню, как в 1951 году у Ляли и Бориса Сергеевича*, еще на Мерзляковском, в их туго набитой людьми комнатухе ее студент, будущий знаменитый режиссер и мой с тех пор близкий друг Григорий Чухрай, рассказывал об одном эпизоде из своей военной биографии. Рассказ всем очень понравился, он был талантливый, эмоциональный и содержательный. Среди собравшихся был и Рудак, сиречь Евгений Александрович Рудаков, человек разносторонне образованный, острый и уже отсидевший за это срок. Никакой диалектики, оправдывающей строй, он, в отличие от Ляли и отчасти еще меня, не принимал. Когда Чухрай ушел, Ляля спросила — явно с воспитательной целью:

— Ну как вам Гриша, Евгений Александрович?

— Очень интересный и хороший человек, — ответил не задумываясь тот.

— Нет, все-таки не только хороший человек. Признайте, что этот хороший человек — продукт эпохи.

Тут крыть было нечем. Но Рудак и не собирался этого отрицать.

— Конечно, — охотно согласился он. И тут же добавил: — В том-то и беда, что эпоха сначала создает этот продукт, а потом его поедает.

Тут уже крыть нечем было Ляле.

Гришу эпоха, слава Богу, не съела, не успела съесть, но вполне могла. Такой продукт она действительно поедала. Несколько раз во время войны его судьба подходила к этому — я говорю не о вражеских пулях (они ему грозили не несколько раз — он был десантником), а о славных «органах». И случалось это тоже от «слишком» серьезного отношения к вещам и словам. Бог миловал, проносило. Но стреляли именно по таким, как он. А ведь именно они были потенциалом страны.

Мне часто кажется, что этот казавшийся неиссякаемым потенциал — свидетельство того, что у России было высокое предназначение. И если даже он был растрочен впустую, а иногда и во вред, это еще не значит, что не было

* О них я рассказывал в шестой главе предыдущей книги.

этого предназначения. А может, оно и сейчас еще есть? И потенциал возродится?

Мне кажется, в Бодайбо тогда направлялись не только «курские соловьи», а и отдельно от них, но на тех же основаниях, другие люди. Запомнились мне трое рабочих с московского завода «Серп и молот». Фамилий их я не помню совсем, имя помню только одного из них — его звали Сережей, а в общем помню всех их очень хорошо. Были они все крепко и ладно сколочены, собранны, энергичны, внутренне как-то очень прочны — это чувствовалось. Все они были людьми высокой квалификации — лекальщиками восьмого разряда. Читатель мог уже заметить мою слабость к квалифицированным рабочим. Но не думаю, что я что-то приукрашиваю. Они на самом деле были славными людьми. Один из них был несколько постарше (по моим тогдашним понятиям, человеком пожилым), двое других были старше меня лет на пять—семь. Расположились они неподалеку от меня, и отношения у нас установились дружественные.

Чувствовалось, что привыкли держаться друг друга они уже давно — так складывались их биографии. Вместе ушли с «Серпа и молота» на войну, вместе, похоже, попали в плен, были в плену, вместе вернулись на завод, и вот теперь вместе этапировались в Бодайбо. Думаю, что связана была их судьба с трагедией Московского ополчения (но не удосужился спросить об этом). Иначе трудно понять, как им удавалось оказываться вместе на фронте и в плену. Видимо, сейчас они «следовали» по какому-то общему постановлению, не требовавшему следствия. Ибо вряд ли бы их с Лубянки отправили вместе и в одно место. Что это было за постановление, я не знаю. Вероятно, они и в плену (куда денешься!) работали на заводе, а уж этот факт можно было тоже истолковать как несоответствие требуемым (но никому не известным, а потому и произвольным) нормам самоотверженности.

Вот и получилось, что люди, добровольно ушедшие защищать страну (рабочих такой квалификации не мобилизовывали) и бездарно подставленные под удар, должны были всю жизнь нести ответственность за последствия гениальности своего вождя. Так что этим ребятам еще повезло. Могли их мытарства представить и изменой Родине. Но могли и просто оставить на воле — так бы они работали на

своем заводе, числясь хорошими производственниками и вполне советскими людьми — правда, со слегка подмоченными анкетными данными. Их бы только старались не выдвигать в завком, и портреты бы на заводскую Доску почета не вывешивали. Обидно, но дома, с семьями они бы это как-то пережили. Ан нет! — подхватили, и на этап.

Не обходилась наша камера и без молодой интеллигенции. Однажды рядом со мной на нарах улеглись два московских студента. Оба получили ссылку, кажется, в Кустанайскую область. Имен их я не помню, а фамилию помню только одного из них — Сванидзе. Был он то ли историком, то ли филологом. Его товарищ был юристом. За что был арестован юрист, не помню. Сначала, когда я стал припоминать, мне показалось, что за родителей. Тогда арестовывали не только «повторников», но и детей «врагов народа» (в основном расстрелянных. В обвинительном заключении по делу жены Юрия Айхенвальда Вавы так и значилось: «Герлин Валерия Михайловна полностью изобличена в том, что она является дочерью Горба Михаила Семеновича»).

Но детям «врагов» сразу давали 7/35 и ссылку, а оба моих молодых сокамерника прошли через психиатрическую экспертизу в больнице при Казанском политизоляторе. Следовательно, обвиняли их в чем-то более серьезном. И только «невменяемость» обеспечила им ссылку вместо лагеря.

Юрист явно сидел «за себя» — он и здесь, продолжая начатые еще в психушке разговоры со Сванидзе, стремился дать правовую оценку советской действительности, а этого она терпеть не могла.

Некоторых может удивить упоминание об откровенных беседах в психтюрьме. Кто мог их допустить? — времена-то были сталинские. Но тем не менее по рассказам этих двух студентов и других моих товарищей, побывавших в тогдашних психушках, у меня, как это ни странно, сложилось впечатление, что в сталинские времена эти заведения были чем-то вроде интеллектуально-политических клубов.

«Нормально» за это полагалась «камерная агитация», ужесточающая любую статью, но тут сходило с рук. То ли тирания почему-то именно (и чуть ли не только) в этом случае всерьез воспринимала собственную законность и не обращала внимания на суждения «невменяемых». Может быть, просто в «данных конкретных условиях» вопрос о

стукачах оказался неразрешим — стукач ведь тут мог быть только из невменяемых (других в психушку не помещают), а как-то неудобно при оформлении дела (а сталинская тупота в оформлении и состояла) ссылаться на невменяемого свидетеля. Конечно, тов. Сталин и не такие узлы разрубал топором, но почему-то длинные руки его тирании до психушек не дошли. И «психи» безнаказанно трепались в свое удовольствие. Конечно, по логике и эстетике Сталина это было безобразие, но, слава Богу, он об этой вольнице не знал.

Сванидзе, хотя он действительно был сыном расстрелянного ответработника — кажется, управляющего Госбанком, тоже сел не за родителей, а только «за себя». Я это помню хорошо — уж слишком причудливо было его дело. В отличие от «юриста», которому в случае вменяемости грозила только 58/10, Сванидзе его болезнь освободила от более серьезного обвинения — участие в антисоветской организации. Правомерность определения «организация» — на совести МГБ. Но тот кружок, который имелся в виду, представляет некоторый исторический или историко-психологический интерес. Я, конечно, подумал, что речь идет об одном из тех бесчисленных тогда молодежных марксистских или «подлинно коммунистических» кружков для пристрастного изучения первоисточников с целью разобраться в происходящем.

Но я ошибся. Кружок, к которому имел отношение Сванидзе, был совершенно другого направления. Конечно, это был кружок, а не организация — не могло же МГБ без липы. Но липой там, где я тогда находился, никого поразить было нельзя. А это дело поражало. И поражало отнюдь не липой. Липы в нем вообще было меньше, чем в большинстве других.

Достаточно сказать, что среди многих других обвинений, связанных с этим кружком и предъявленных моему соседу по нарам (о многих я забыл), был... расизм — пропаганда расовой теории. Я удивился, подумал, что это плод следовательского творчества, но оказалось, что не совсем.

— Конечно, это преувеличение... Мы не расисты... Но...

В таком деле для меня никакого «но» быть не могло. То, что он мне несколько путано объяснял, все-таки было расизмом, верой в предопределенность человеческого поведения этническим происхождением, расой. Упирал на под-

сознательное. Я как-то не выяснял, собирается ли он меня уничтожить, как вредное насекомое, но думаю, что ему самому такое предположение было неприятно. Приятель его, «юрист», был еврей (сам он был метисом — отец его был грузином, а мать украинкой), а отношения у них были близкими и дружескими. Приятель знал о его взглядах (он их ни от кого не скрывал), но не придавал им значения. Сванидзе как-то мало соответствовал своим взглядам, не походил на человека, способного проникнуться расовой ненавистью или чувством расового превосходства. Просто уверовал в расовую теорию, как его родители в классовую борьбу. И у меня с ним тоже отношения были вполне дружескими. Дружески и расстались. Взгляды свои он, кажется, сохранил до конца. Встретились мы с ним однажды и после реабилитации, в Москве. Было это в конце шестидесятых. По путевке Бюро пропаганды Союза писателей я пришел читать стихи в Институт народов Африки. Меня познакомили с заместителем директора института, им оказался Сванидзе. Мы отнеслись друг к другу тепло, но как-то смущенно — беседы не получилось. Узнал только, что его приятель «юрист» занялся коммерцией (кажется, промкооперацией); один знакомый диссидент, работавший с ним, отозвался о нем очень тепло, как о порядочном человеке:

— Я слышал, что у него антисемитские взгляды. Но вел он себя всегда в высшей степени порядочно — и в личных отношениях, и в научных...

А времена ведь были такие, что у него было много возможностей, да еще на своем посту, реализовать свой расизм. Видимо, не было потребности. А что бы он делал, если бы расисты пришли к власти? Либеральные коммунисты еще как-то мыслимы, встречались, но либеральным расистом быть невозможно — слишком абсолютно это мировоззрение — никакой диалектики оно не допускает. И неотделимо от отношения к людям. Худо бы ему пришлось...

Не думаю, чтобы он был типичным членом этого кружка. Кстати, состав этого кружка сам по себе показателен. Кружок носил явно кремлевский характер. В основном в него входили дети высокопоставленных родителей. Причем разных призывов. Дети расстрелянных, как Сванидзе, и дети занимавших в тот момент высокие посты. Каким образом они соединялись, как осуществлялась эта «эстафета поко-

лений», я не знаю. Не запомнил я и имен членов организации. Помню только, что возглавлял ее сын тогдашнего министра строительства военно-морских сооружений Дегай. Меня это поразило: дети советского руководства, и вдруг — расисты и антисемиты.

Я не знал, что это явление не новое. Югославский коммунист Шелига в своих воспоминаниях, напечатанных в конце тридцатых годов в «Современных записках», рассказывает, как он был поражен, когда однажды — еще в конце двадцатых — случайно услышал разговор двух молодых людей, сыновей высокопоставленных коммунистов, из которого явствовало, что оба они безусловные антисемиты.

Откуда антисемитизм в этой среде? Ведь не тем он был вызван, что среди евреев было много чекистов и начальников, — фактор, в те годы безусловно стимулирующий антисемитизм. К среде начальников и чекистов (которые тогда не очень были отделены друг от друга) они сами принадлежали.

Это было проявление духовной несостоятельности «пролетарской диктатуры». Рыба, как всегда, начинала гнить с головы.

Я здесь сейчас не борюсь с антисемитизмом и не проявляю болезненной реакции на него. Я не раз говорил, что могу разговаривать и с коммунистами, и с антисемитами (разумеется, если те не призывают меня убить), но если это в одном лице — пусть с ними разговаривает психиатр. Впрочем, я теперь думаю, что психиатр тут не поможет — это интеллектуально-нравственный разврат, привычка людей, «обустроившихся» в прострации, не отдавать себе отчета в смысле произносимых слов и исповедуемых взглядов. Расизм детей советских руководителей — убогая попытка людей, выросших среди тех, кто хорошо обживался в обстановке этой прострации, избавиться от нее, не отказываясь в то же время от «достижений» (сиречь использования положения) отцов. Они ведь были и чуточку информированнее, чем прочие, слышали, что в мире есть убедительные теории и помимо исторического материализма. И выбрали себе по вкусу.

Я тогда так не формулировал, но то, что «верховные дети» могут быть такими, против воли поразило меня. Дело не в них самих. Может, и среди них были еще такие, как

Вано (кажется, Сванидзе звали Вано), к которым мои определения относятся не полностью, но которых завело в эти дебри наше общее блуждание во мраке. Но сквозь все это, и даже сквозь то, что это блуждание — общее, я смутно почувствовал душную бездуховную обстановку той среды, в которой росли эти дети и которая руководила всей жизнью страны, в том числе и духовной, — среды, в которой я хотел видеть духовную элиту, хранителей тайны, некоего «Ковчега Завета», которые бдят на посту, совсем по Блоку:

Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.

Да простит мне Господь этот греховный и сам по себе пароксизм идейности и связанный с ним грех самоослепления. Смутная тревога, испытываемая мною тогда, так и оставалась смутной, никак не хотела превращаться в ясное знание. Хотя подкреплялась она (тревога) такой «частностью», как весь мой жизненный опыт.

Но я ведь был закален борьбой с частностями, приучен не уступать слуху, зрению и жизненному опыту вообще. Чтоб не упасть с той якобы духовной высоты, на которой я якобы находился.

Не у всех эта дурь (или романтика?) достигала такой концентрации, как у меня. Даже у Блока этот «рай» мыслился как нечто уже существующее (культура, чувства?), а не то, что только предстоит создать по умственному чертежу, и соответственно — его следовало только «охранять железом», а не железом насаждать. Но я был только последовательнее. В целом же эта «дурь» была свойственна многим. И не всегда ее психологическая суть была столь корыстной, как полагают некоторые экс-молодые авторы эпохи беспредела (типа А.Мелихова).

Простились мы дружески. Взяли на этап его вместе с «юристом» — у них был общий пункт назначения. Вместе с ними взяли и всю тройку с «Серпа и молота». Это спасло ребят от ограбления. Кто-то, уведенный вместе с ними на этап, но по какой-то чисто организационной неувязке возвращенный к нам в камеру, рассказал, как было дело. В помещении, где формировались этапы (его называли «вокзал»), наши оказались вместе с уголовниками. В этой обста-

новке нервного ожидания этих двух интеллигентов углядел один из урок, вразвалочку подошел к ним, окинул профессиональным взглядом, не сулящим ничего хорошего, и произнес:

— А ну, мужики, показывайте, что у вас в сидорах.

Ребята растерялись. Но тут зазвучал голос стоящего неподалеку Сережи:

— А откуда ты, такой любопытный, взялся?

— А ты, мужик, не лезь, — столь же профессионально отреагировал урка. — Не тебя спрашивают.

— Да ты не понял, — удивился Сережа. И пояснил: — Это я тебя спрашиваю.

— Не лезь, мужик, — перешел на угрожающий тон урка. — А то смотри...

— А на что смотреть? Вроде не на что, — удивился опять Сережа. И засмеялся. Два его товарища дружно засмеялись вместе с ним. Урка верно (и тоже профессионально) оценил значение этого смеха и удалился — впрочем, с видом независимым и даже презрительным, но в то же время ни к чему не причастным. Дескать, поговорили и разошлись — какое кому дело.

Урки не любили связываться с теми, кто их не пугался. Вообще появление на этапах и на пересылках «вояк» несколько сократило там (говорят, и в лагерях тоже) всевластие урок, да и начальство в эти годы стремилось не помещать нас вместе с ними. Это было не исключено, такая опасность всегда висела над нами, но случилось это в «мое» время не слишком часто. А вот с этими ребятами случилось. Спасибо, Сережа с друзьями помогли. Все-таки была еще какая-то крепость и неразложенность во многих людях. Хотя бы у части тех, у кого было настоящее мастерство — адекватные самоуважению и достоинству, которое оно дает. Конечно, не всегда и не всем, но все же. Ведь сколько торжествующей несправедливости, низости и зверства видели эти трое московских рабочих, пройдя своей дорогой мук, а сохранили естественную и наиболее достойную реакцию на такие вещи. С.Я.Маршак однажды срезал какого-то завравшегося молодого стихотворца:

— Вы что, думаете, что вы культурнее краснодеревщика? Краснодеревщику дана культура в вещи, а вам пока ни в чем!

Это была культура человеческого поведения и отношений, которую большевики старались скомпрометировать и уничтожить во имя (как наиболее честным из них казалось) всеобщей любви, а Сталин — для собственного удобства. Воплощением этой «высшей расы», сохранявшей эту культуру, и были (и остаются) для меня эти трое московских рабочих с «Серпа и молота». Я никогда больше никого из них не встречал и не знаю, как сложилась дальше их жизнь, не знаю даже, жив ли кто-нибудь из них — они были старше меня, а мне в момент, когда я пишу эти строки (октябрь 1998-го) уже почти семьдесят три. Но — так или иначе — низкий поклон тем из них, кто пока жив (если такие есть), и Царствие Небесное тем, кого уже на этой земле нет. Я рад, что их встретил, память о них органически вошла в состав моего мироощущения, моей любви к России и веры в жизнь.

Да не подумает читатель, что в камере этой я «изучал жизнь», то есть кого-то про запас интервьюировал. Нет, я просто жил среди людей и вступал с ними в отношения. К людям я тянулся, сочувствовал им (независимо от их взглядов), превосходство многих из них и признавал и часто бывал им благодарен — почти все там были старше меня, и многие меня опекали. Хотя при этом лишиться своей внутренней «аристократической» причастности к «духу истории» по-прежнему боялся.

Никогда не забуду эстонца Гуго Карловича. Фамилии его я не запомнил, а может, и не знал никогда. Потом я слышал, что в независимой Эстонии он был то ли начальником, то ли крупным работником Генштаба. По-русски он говорил не только хорошо, но и естественно — языком русского интеллигента. Мною он заинтересовался — как никак живой молодой человек, интеллигентный и мыслящий, к тому же способный защищать свои взгляды на общечеловеческом языке, но при этом коммунист и даже сталинист, остающийся таким и в сталинской тюрьме. Любопытно!

Однажды я по его просьбе изложил ему все свои «теории», а также объяснил, почему то, что я арестован, ничего не меняет в моем апологетическом отношении к строю — все ту же неоднократно уже здесь изложенную бодягу о трудности пути вперед и силе человеческой косности, препят-

ствующей прогрессу, которую необходимо преодолеть. Его реакция на эти «бесспорные» рассуждения меня удивила и поразила:

— А почему вы всего и всех так боитесь, если несете всем счастье? Почему же вам так необходимо их подавлять? Да и самих себя тоже...

Моей «диалектики» этот, с моей тогдашней точки зрения, отсталый, но почему-то очень мне приятный и вызывающий искреннее уважение человек явно не понимал. Разговор этот не имел продолжения, кто-то меня отвлек, а больше он не возобновлялся. Да и не был я тогда готов воспринять такой простой, «безыдейный» — человеческий взгляд на вещи. Но я был поражен.

Это был трезвый взгляд извне на ту систему, то зафлаженное пространство (не только сталинщины, но и идейного коммунизма), внутри которого металась моя мысль. Взгляд оттуда, где для меня тогда еще не существовало ни правды, ни Духа. То, что нас, «штурмующих небо», можно воспринимать как трусов, меня даже не оскорбило, а только удивило. Но это в меня и запало. Тем более что я не мог не чувствовать, что человек, говоривший мне это, сам отнюдь не трус. И что сказано это не просто так, а идет из глубины сознания, причем сознания культурного и взрослого. Конечно, и эти определения — все сегодняшние, тогда я такими понятиями не оперировал. Я опять-таки это только почувствовал, а размышления (то есть увязывание с правильным мировоззрением) как бы отложил на потом. Впрочем, и этого я не сознавал.

Его слова и образ, конечно, помогли моему прозрению. Потом — тогда оно еще и не думало наступать. Благодарен же я ему не только за это, но и за товарищескую помощь. Однажды он меня крепко выручил, спас от издевательства. Уже упоминавшиеся здесь «блатные политики» однажды от нечего делать стали ко мне приставать. Нет, не с целью ограбить или причинить мне какой-либо вред, а исключительно потехи ради. Завели разговор издалека. Дескать, пишешь? А что пишешь? А зачем пишешь? Всех вопросов не помню, но общее в них было то, что все они задавались не с целью услышать ответ. Потешало же их то, что поначалу я отвечал им серьезно и по мере того, как вопросы становились все насмешливей, не мог этого тона изменить — чув-

ствовал, но не сознавал ситуации и все пытался что-то им объяснить. Дошло до того, что чуть ли не начал читать стихи. Ощущая, что это идиотизм. Но татуированные наседали — рассеивали скуку.

И вдруг сбоку, с нижних нар (я лежал на верхних против входа в камеру), раздался обращенный ко мне возмущенно-требовательный голос Гуго Карловича:

— Что вы делаете? Прекратите немедленно! — и поскольку я не понимал, что это значит, добавил, столь же требовательно приказывая: — Ложитесь и перестаньте отвечать. Замолчите!

К сожалению, этот недостаток — неумение вовремя почувствовать, изменить психологическую обстановку разговора, несоответствие ее ожидаемому — свойствен мне и поныне. Если не ожидаю подвоха, могу попасть впросак. Но все же я теперь более вооружен против этого. Ибо усвоил, что никакое уважение и доверие к людям не должно позволять им ни самоутверждаться, ни веселиться за счет твоего достоинства. Применять это усвоенное мне приходилось не так уж часто, с годами все реже, но Гуго Карловича я никогда не забуду. Яростная реакция на, казалось бы, незначительное (особенно по тем временам и обстоятельствам) поругание человеческого достоинства, причем когда дело касалось человека, внутренне ему неблизкого, да что неблизкого — просто сочувствовавшего его врагам и мучителям (пусть он и понимал, что это сдуру), — свидетельство его естественного благородства.

Я нескорю пойму, что это благородство вытекает из нормального миропонимания, от которого я был тогда прочно отделен своим романтическим мировоззрением. Но некую прелесть этого миропонимания смутно, как и многое другое, почувствовал уже тогда. Гуго Карлович был гораздо старше меня и вряд ли сегодня еще жив. Царствие ему Небесное!

Помню одного украинского коммуниста, по-моему, даже работника ЦК КП(б)У, арестованного не то в 1934-м, не то в 1937-м. Некоторые утверждают, что на Украине «тридцать седьмой» был проведен в 1934-м, когда изничтожали «скрипниковщину». Так оно и было — убирали свидетелей и проводников голодомора. Но и в 1937-м «тридцать седьмой» там тоже был в полной мере, тому и я свидетель. Так

что на Украине было два «тридцать седьмых». И в который из них угодил мой новый собеседник, я забыл. Судя по всему, скорее в 1934-м. Был он еще здоровым, крепким человеком, широким в плечах, хорошего роста, весьма приятным в общении, вполне интеллигентным и мыслящим. И почему-то мне кажется, что это был тот самый Шумский, который был секретарем ЦК КП(б)У по пропаганде (следовательно, и по культуре) при Скрипнике. Да, что ни помни о грехах «подлинного коммунизма», все-таки надо отметить, что человек такого уровня в нем был своим, а среди сталинских «сердюков», среди людей, превращенных в гомункулусов, встретить такого было немыслимо. Тем более что он занимался идеологией, а не экономикой или хозяйством, как Вознесенский или Косыгин. Впрочем, Вознесенский взошел, как звезда, но в одночасье и рухнул. Вождю нужны были гомункулусы, остальных он иногда вынужден был терпеть, что, по-видимому, воспринимал как унижение. Поразительно, но большинство профессиональных агитаторов (завы агитпропотделами обкомов и райкомов) отличались косноязычием.

Относился этот человек к той категории людей, которая теперь называет себя «национально-мыслящие» — только без их агрессивности и передергивания — просто стоял за свой язык и культуру. Впрочем, как многие украинские националисты, он был склонен к «националогии», к абсолютизации вопроса о национальности — меня он корил за чуждость еврейской традиции. Конечно, все это — общее впечатление, конкретных его высказываний я почти помню.

Как-то я прочел ему одно мое тогдашнее стихотворение, вполне сталинистское и абсолютно непечатное. Представляло оно собой рассказ командира об отступлении 1941 года через враждебно настроенные галицийские села. О том, как стреляли вслед, как было это больно и тяжело, «пока не вышли к Шепетовке — за линию погранзастав» — к людям нашей судьбы, прошедшим через все и все понимающим. Стихи эти перед арестом и сразу после смерти Сталина печатать было невозможно (и слава Богу!), а потом у меня и желания такого не возникало. Стихи эти были о превосходстве советского — читай: романтического — миропонимания над отсталым и мелким. Это отношение ле-

жит в основе трагических воспоминаний того офицера, альтер эго автора, об этих дополнительно тяжких и обидных обстоятельствах нашего отступления. Он с горькой укоризной вспоминает — мы вынуждены отступить перед таким врагом, а в это время наш отход задерживают «пулеметы с колоколен», и вдобавок: «На нас косятся воровато в мохнатых шапках мужики».

Я полагал, что чувствую и рисую объективную трагедию бытия и революции, но мой собеседник воспринял это иначе.

— А у этих мужиков, наверное, были причины смотреть вслед нашим войскам недоброжелательно? — спросил он, выслушав мои стихи.

Вопрос поставил меня в тупик. Я ведь тоже знал, что у них есть на то причины и, собственно, не скрывал этого. Просто я был убежден, что достойней было быть выше, и имел идиотизм презирать этих мужиков за неспособность воспарить на подобные «высоты». Но и ему, старому коммунисту, взбираться на них не захотелось*, что ставило меня в тупик, но не уменьшало моих симпатий к этому человеку.

А он все больше меня поражал. Однажды он мне объяснил, что в лагере лучше всех себя ведут дети раскулаченных. Поскольку дома им внушены четкие правила поведения и общежития — среди них почти не бывает стукачей или ворюшек**. Думаю, что это его понимание определялось тем, что он был украинским интеллигентом, которому голодо-

* Судьба Шумского сложилась трагически. В лагере он потом серьезно заболел, был «сактирован» и выпущен на волю умирать. Он приехал в Саратов, но там слег и лежал в больнице. На свою беду, он начал оттуда писать письма киевским знакомым, прося о помощи. Хрущев усмотрел в этом (или испугался, что другие усмотрят) попытку организовать на Украине (где и так он никак не мог справиться с «бандеровцами») подпольный антисоветский центр. Он поднял шум и выехал в Саратов вместе с экспедицией ГБ, в которой участвовал и Судоплатов, позже рассказавший о ней в своей книге. Там эти бойцы невидимого фронта велели «своему человеку», медсестре, впрыснуть пациенту под видом лекарства яд кураре. Так кончил свои дни мой знакомец, если он на самом деле был Шумским.

** Может показаться, что это противоречит моему же утверждению, что дети раскулаченных часто примыкали к уголовникам. Но это те, кто в детстве терял родителей, кого просто лишали возможности и легального права существовать (как евреев при нацистах) и кого воспитывала «хевра». А тут речь о тех, кто был взят более или менее взрослым, кого воспитали дом и уклад.

мор (в целях сокрытия которого его, скорее всего, и «изолировали») на многое открыл глаза. Меня эти слова поражали — они ведь противоречили мировоззрению, — но удивили гораздо меньше. Ледяное дыхание ГУЛАГа было объективной реальностью, весьма жестко данной мне в ощущении, и я интуитивно чувствовал за его словами опыт, а в глубине души воспринимал и их логику.

Душа, стыдясь самой себя, начинала уже искать чего-то прочного, противостоящего верховному беспределу. И ценность людей, воспитанных в твердых (пусть «обывательских») правилах, в тех условиях была вполне ощутимой — даже и для меня. Романтические представления понемногу корректировались. Но мировоззрения это пока не затрагивало. Диалектика способна увязать и примирить что угодно с чем угодно. На то и «единство противоречий».

Естественно, встречал я на пересылках и коммунистов «ежовского набора» — «повторников» и этаплируемых прямо из лагерей после отбытия срока в ссылки. В основном это были комсомольцы двадцатых и начала тридцатых годов — «те мальчишки, что опоздали родиться /К тачанкам и трубам гражданской войны» (Я.Смеляков), оппозиционеры и «примкнувшие к ним» для заполнения «квоты». Тогда уже разница между ними ощущалась резко — Сталина они ненавидели и презирали почти все. Конечно, они были в своих представлениях о мире ограничены, но, поскольку я тогда в своих суждениях был еще более ограничен, я этого понимать не мог. Не мог же я считать ограниченностью верность коммунизму и Ленину. Да это и вообще было не в духе времени — думаю, что и абсолютное большинство населения камеры, относясь к Сталину вполне враждебно, Ленина, точнее миф о Ленине, под сомнение не ставили. Я отличался от всех вовсе не близостью к истине, а еще большим отдалением от нее — защищал Сталина.

Тут я и вступал с ними в спор. Они не принимали меня за идиота, чей кругозор ограничен официальной пропагандой, только потому, что обнаруживали, что я все же знаю и понимаю, как было на самом деле. И поэтому (хотя нес я жестокую чушь) относились ко мне тепло, по-отечески. Но понимания, что они сами явились кузнецами своего (если бы только своего!) несчастья, у них не было. У меня тоже.

Тем не менее никто из них не выглядел и не был тем чудовищем, заговором которых представляется русский

коммунизм воображению тех из нынешних «патриотов», кто защищает Сталина. Я достаточно много писал о коммунизме, его преступности и греховности. Не собираюсь я ни оправдывать, ни обелять и этих коммунистов. Так или иначе, все они до ареста были членами преступной организации, а у кого-то из них могли быть и персональные «заслуги» в прошлом. И вряд ли кто из них сумел пересмотреть свои взгляды и свою жизнь, когда Сталин был развенчан. Они не были темными людьми, но видит Бог, не были и светочами разума — скорее всего, они не имели даже представления о достижениях дореволюционной русской мысли. Впрочем, я тоже не имел, а они хотя бы не были гуманитариями.

Но все же они, как и предполагаемый Шумский, не были и гомункулусами сталинской эпохи. Могу обрадовать «патриотов» — те несколько человек, которых я встретил, были евреями, что абсолютно не значит, что так было везде. Опровергать идиотскую глупость, доказывать, что коммунизм не был заговором мирового еврейства, сознательно направленным на гибель России, я, может быть, и буду вынужден (хотя, повторяю, о «настоящем коммунизме» я уже писал достаточно), но пока не хочу. Пока я пишу воспоминания. И констатирую: отталкивающими эти люди не были. Не только для меня, но и для всех вокруг. Впрочем, за исключением одного, но о нем чуть ниже.

Особенно часто я разговаривал с инженером Гольдшмитом. Он был «повторником» — отсидев полученный в ежовщину срок, он теперь был снова арестован и препровождался в ссылку. Кажется, в Казахстан. Не помню, был ли он в оппозиции. Не исключаю, что когда-то по младости проголосовал раз или два за резолюцию какой-нибудь растронившейся в Лете троцкистской комсомольской оппозиции. В этом вовсе не было особой зловредности. В той части интеллигентной и не совсем интеллигентной молодежи, которая в двадцатые годы вообще принимала большевизм, многие (и отнюдь не только евреи) склонялись к троцкизму. Это было логично. Троцкизм — это догматический большевизм, и поэтому (конечно, только внутри большевизма) он вообще выглядит логично. Логичнее даже, чем бухаринство (попытка сочетать большевизм со здравым смыслом, что требовало более обширных знаний и высо-

кой культуры), а тем более чем сталинская эклектика. И молодые люди, приняв (часто натужно, «со скрипом») большевизм, хотя бы в нем старались соблюдать принципиальность — держались догмы. Или романтики. По-моему, ко времени нашего знакомства Гольдшмит, хоть Сталина и не любил, уже ничего не держался. Он был инженером и хотел работать. Он и в первый раз был посажен отнюдь не за подпольную деятельность, а в общем порядке. А после лагеря пристроился преподавателем техникума в подмосковном Кудинове. Работал он, видимо, хорошо.

Рассказал он мне об одном характерном эпизоде. Однажды он был назначен ответственным за какой-то торжественный вечер. В небольшом поселке вечер в техникуме — событие заметное и привлекательное для окружающей молодежи. Гольдшмита предупредили:

— Смотрите!.. А то там хулиганы у входа...

— Да? — сказал старый комсомолец. — Хулиганы? Посмотрим...

И вышел к этим хулиганам. Стояли несколько ребят и скучали в ожидании повода похулиганить. Курили. Он у кого-то из них прикурил. Постепенно завязался разговор.

— Тут, говорят, вечер будет? — спросил один из хулиганов.

— Да, — вздохнул сокрушенно Гольдшмит. — Должен быть. Я за это отвечаю.

— А что? — встревожился хулиган.

— Да тут, говорят, хулиганы... людей не будут пропускать... Девочек особенно... Мне бы ребят стоящих несколько человек подобрать, чтоб за порядком следили... Да где ж их взять?

— Как где? А мы!

И сформировал Гольдшмит из предполагаемых хулиганов охрану от хулиганства. И вечер прошел на славу. И хулиганы чинно на нем присутствовали. И директор объявил Гольдшмиту благодарность. А ведь всего-то сработали старые навыки — стараться не отталкивать, а привлекать. Хотя бы «социально-близких». Это не отменяет никаких преступлений «старой гвардии» (в которых Гольдшмит вряд ли участвовал), но все-таки по сравнению с новыми навыками, присущими представителям новой, сталинской (по мнению некоторых, патриотической) формации руководите-

лей, не чувствующих ответственности и за «социально-близких» (чуть что стремящихся мешающих отделить, а то и «изолировать»), ее эти навыки выглядят предпочтительней. И особенно предпочтительней отношения чубайсовских демократов, которым на всех выброшенных ими из жизни людей — и взрослых, и детей — просто наплевать.

Гольдшмит окопался в Кудинове и думал, что спрятался. Но не тут-то было. Как только тов. Абакумов начал упоминавшуюся охоту на «повторников», его нашли. Пришли за ним, как водится, ночью. Почему так было заведено — секрет изобретателя, скорее всего, давно уже к тому времени расстрелянного. Видимо, имелось в виду застать врага врасплох и растерянного. Хотя удары с давних чекистских времен наносились в основном упреждающие (по классу и прослойке в целом) и приходили чаще всего за ничего не подозревающими «кроликами».

Ночной налет был и впрямь «результативный» — правда, результат был не тот, которого они ожидали.

Гольдшмит действительно был не один — у него была женщина. Гольдшмиту все это было знакомо, а несчастная женщина перепугалась — не помню, удалось ли ему уговорить ее забрать какие-то его вещи — не брать же ему их было с собой. Пришедшие против этого ничего не имели, но уж очень она была перепугана. Перепуг был отчасти не на пустом месте. В хорошие ежовские времена вполне могли бы прихватить и ее, как сообщницу и пособницу — в преступлении, которое бы еще предстояло придумать. Но отчасти и на пустом — времена теперь были более либеральные: ведь даже Гольдшмиту не шили новую липу, а сажали по старой. Но где ей было разбираться в оттенках страшного — скорее прочь, от греха подальше.

Общались мы с Гольдшмитом много, но конкретных разговоров с ним я не помню. По сути, они были похожи на приведенные выше. Только однажды он меня вдруг удивил:

— А вы стараетесь не общаться с евреями — скрываете, что вы еврей.

Я опешил. Он вовсе не был заиклен на еврейском вопросе. Да и вообще что это значило? А что я делал в данный момент, если не разговаривал с евреем (то есть с ним)? И ведь не в первый раз. И он знал, что не был в этом смысле исключением. Но он не унимался:

— Да, да. Мне говорили! Не отпирайтесь!

И тут я понял, в чем дело.

— Это неправда. Ведь и с вами, и с таким-то, и с таким-то я общаюсь довольно регулярно и тесно. Они вам этого обо мне сказать не могли. Я знаю, кто вам это сказал. С этим человеком я действительно не общаюсь, но не потому, что он еврей, а потому, что он мне неприятен.

— А-а!.. — сказал Гольдшмит — Тогда другое дело. Это ваше право.

Имя этого человека не было названо (я его и сейчас не знаю), но по реакции Гольдшмита я почувствовал, что угадал. Между тем этот человек сто́ит того, чтобы о нем рассказать подробно. Как об историческом типе — лично я почти ничего о нем и теперь не знаю. У меня есть только одни впечатления. О них и расскажу. Даже если они не совсем точно свидетельствуют о нем, они точное и важное свидетельство обо мне. А любые мемуары — это рассказ и о себе. Впрочем, я думаю, что и о нем они свидетельствуют точно. Начну по порядку.

Как этот человек появился в камере, я не помню. Расположился он на нижних нарах, справа от меня — я, как здесь уже говорилось, располагался на верхних нарах в торце против входа. Заметил я его, когда он вдруг заговорил со мной. На идиш. Идиш никогда не был языком, на котором я «жил и мыслил», но в Киеве он был у меня на слуху, и я его более или менее понимал. Но после стольких лет я понимал его много хуже. Впрочем, обычно я как мог откликался и на идиш. Но здесь мне не понравилось, что со мной таким путем устанавливают общность. Кроме того, он мне сам не понравился — показался каким-то дряблым, жидким. Я ему что-то ответил, но разговора поддерживать не стал. Оказалось потом, что неприятное впечатление он производил и на других.

Выяснилось это вот как. Как-то раз ему почему-то вдруг (никакой близости да и просто традиции общения у нас, повторяю, не было) захотелось со мной поговорить, и он позвал меня со своего места. Мне слезать вниз, да еще к нему, не хотелось, да и разговаривал я в это время с кем-то другим. Но мне было как-то неловко. И вдруг я услышал голос лежащего неподалеку Сережи (того самого, с «Серпа и молота»):

— Да ну его, Наум! Не ходи!

Эта реакция, раздражение, звучащее в голосе, меня удивили. Сережа вовсе не следил за кругом моего общения и не проявлял не только никакой враждебности, но даже просто отчужденности по отношению к другим евреям в камере, а тут вдруг такое. Впрочем, и обращен был этот его возглас тоже к еврею — так что антисемитизм как его объяснение начисто исключался. В чем же было дело? Выходит, что неприятное ощущение он вызывал не только у меня. Причем персонально он, а не евреи вообще. Чем? Я об этом тогда не думал. Да и думал бы — не понял.

Возможно, и сегодня бы, если бы вообще помнил об этом своем сокамернике, я бы мучился от стыда и сознания собственной греховности по поводу этого своего немотивированного отчуждения, но через несколько лет мне суждено было снова встретить этого человека, и эта краткая встреча странным образом мне все объяснила.

Произошла она году в 1952-м в Караганде, где я жил после ссылки и куда он, по-видимому, был этапирован в 1948-м через Свердловскую пересылку.

Я жил тогда в районе Большой Михайловки и обычно по вечерам возвращался домой через пустой в это время рынок. Встречные в этот поздний час попадались редко. Обычно они, как и я, проходили, не оглядываясь — не от страха, а просто спеша домой. Место было безопасным, да и время — в этом, конечно, только смысле — тоже. Но однажды возникший передо мной из полутьмы человек остановился и поздоровался. И приветливо заговорил со мной на идиш. Я сначала опешил, но очень скоро понял, кто это. Это был тот самый человек, с которым мне не хотелось разговаривать в Свердловске. Как он при таком мимолетном знакомстве узнал меня при столь неожиданной встрече, да еще в полумраке, не знаю. Правда, я его тоже узнал, но все же только ответно. Теперь он выглядел иначе. Впечатление дряблости и жидковатости испарилось, как не бывало. Рукопожатие его оказалось твердым и крепким. Но симпатичней от этого он мне почему-то не стал.

Я не помню, где и кем он работал в Караганде. Но как-то за истекшие три-четыре года он устроился. И судя по его виду и повадке, устроился не так уж плохо. Однако его нынешнее положение вызывало у него саркастическую усмешку — дескать, для него ли такой мизер! Оказалось, что

до своего ареста, в 1937-м, он ворочал делами не такого масштаба. Впрочем, какими именно — я забыл. Это было странно. Ни образованности, ни кругозора у него не ощущалось — ощущалось их отсутствие. Откуда такие амбиции? Но низким интеллектуальным уровнем руководителя меня, знавшего сталинских выдвиженцев, удивить было трудно, и произвело на меня впечатление совсем другое. Выяснилось, что во время Гражданской войны этот тусклый человек был комиссаром!

Сегодня для многих это звучит смешно. Но читатель помнит, что значило для меня это слово. Ведь романтика Гражданской войны была почти единственным духовным достоянием моим и моих сверстников. И квинтэссенцией этого романтического мифа был образ комиссара. Слово «комиссар» звучало для нас так, как для нормальных людей слово «святой». Этот образ в моем сознании был похож на изображенный Петровым-Водкиным в картине «Смерть комиссара». И вот передо мной стоял комиссар, подлинный комиссар, но почему-то это меня не радовало, а скорее обескураживало. Конечно, я знал, что случались иногда и неприятные «эксцессы» («неизбежные» и потому простительные), но ведь и на солнце бывают пятна — слишком он был непохож на мое представление о комиссаре. Но сомнений в его подлинности у меня не возникло — просто романтический образ вдруг отошел в сторону.

Прежде всего мне не понравилось его упорное стремление устанавливать контакты на идиш. Нет, я не имел ничего против этого языка. На своем пути, в водоворотах армии и ГУЛАГа (хоть и там, и там я был только как бы проездом), я не раз встречал людей, по происхождению местечковых, для которых этот язык был родным и кто всегда был рад возможности (не столь уж частой в этих условиях) на нем поговорить с понимающим человеком. Таким людям я всегда, как умел, отвечал. Наконец, до ареста я любил бывать у Самуила Галкина, очень хорошего человека и поэта, писавшего на идиш. Со мной, правда, он разговаривал по-русски, но приходилось слушать его стихи и даже пьесу, и кое-что я даже с удовольствием понимал. Я навсегда сохранил самое теплое отношение к нему и к его творчеству.

Но комиссар этот не был ни традиционным местечковым евреем, ни тем более еврейским поэтом. Он был сол-

датом и даже комиссаром мировой революции — и должен был, по моим представлениям, ощущать прежде всего иную общность. Конечно, сталинщине такое противоречие было сопряжено в принципе. Пролетарский интернационализм (национальный нигилизм) она легко, не моргнув глазом, подменила муляжем дружбы народов (я тоже уважаю все народы и хочу, чтобы они жили в мире и дружбе, но при чем тут коммунизм?). Конечно, пропагандистская эта схема отводила главное место «счастливому русскому народу», но и «счастливый еврейский народ» полноправно входил в приводившийся чуть не каждый день в каждой газете список всех остальных «счастливых советских народов», чья «национальная по форме» культура цветет под солнцем сталинской конституции (исключен был еврейский народ из этого «списка счастливых» только во время войны). Так что идеологически это по новым временам было выдержано.

Но ведь со мной сейчас говорил не рядовой еврей, не еврейский литератор, даже не коммунист сталинской эпохи, а комиссар Гражданской войны, репрессированный Сталиным, — у него, на мой тогдашний взгляд, должны были быть иные предпочтения. Их не было. И отсутствие их коробило. Остальные евреи коммунисты в камере его предпочтениями не страдали — общались со всеми, легко и по-русски. Иногда выходцы из Польши, сойдясь группкой, переходили на польский, но это уже вне зависимости от биографий, партийности и происхождения. Кто-то с кем-то мог так же болтать и на идиш. Но ни у тех, ни у других это не было принципом установления контактов. У него — было.

Те современные «патриоты», которые представляют большевистскую революцию еврейским заговором против России с целью ее захвата, эксплуатации и порабощения евреями, могут возликовать. Вот, дескать, доказательство — вел (или посылал) в бой за Интернационал всех, а у самого такие предпочтения! Но это зря — он о таких материях никогда не слышал. Просто, как и многим другим (людям разных наций), революция открыла ему небывалые (а по сути, несоразмерные с уровнем его личности) «возможности роста» (термин позднейший, номенклатурный), и он попер. И при этом остался тем, кем был. Что случилось в более поздние времена с людьми самых разных происхождений.

Возможно, эти его предпочтения усилились в нем из-за осязаемого и в лагере, но поднявшего голову во всей госу-

дарственной жизни антисемитизма, — тем более что антипатию, которую он вызывал в людях лично (о ее природе чуть ниже), он относил всецело на счет антисемитизма. Возможно. Но все равно это было неприятно. Другие воспринимали это не так.

Короче, дело не в его пристрастии к идиш. Если бы дело было только в этом, я бы давно забыл и этот разговор, и самого этого комиссара. А я не забыл. Мимолетная эта встреча ударила по мне, запомнилась мне и глубоко врезалась в мои память и сердце. И вовсе не «еврейским вопросом».

Прежде всего, как сказано выше, тем, что человек такого уровня, как он, мог вообще быть комиссаром. Я вдруг почувствовал и понял, что он вовсе не был исключением среди комиссаров, что уровень этот был свойствен многим из них. Причем независимо от происхождения.

А это значит, что поведение многих из них слишком часто определялось комплексами, работа которых ясно прочитывалась в этом человеке. Я ощутил — по некоторым его словам, интонациям и ухмылкам, когда он говорил о своем «прекрасном прошлом». А это значит, что многое из того, что в книгах и фильмах о Гражданской войне выглядело «забавно», на самом деле забавным не было. Что во время Гражданской войны, когда от его малограмотной воли зависела жизнь и смерть живых людей (чувствовалось, что об этом он вспоминает с особым удовольствием), он был страшен, был непоколебимо и неумолимо жесток. Особенно по отношению к тем, кого не понимал, но в ком чувствовал превосходство. А таких среди его врагов должно было быть много. И я думаю, что нечто порожденное этой жестокостью, теми разрушениями, которым она подвергает душу, ощущалось в нем и теперь. Несоразмерность его притязаний реальному уровню его личности, вызванная этими былыми его «возможностями», пусть и подавленная, но ощущаемая, тоже сказывалась на впечатлении, которое он производил. Все это не сознавалось, но все же было подспудной причиной той антипатии, которую он вызывал.

Я и до этого знал, что такая жестокость таким деятелям была не только разрешена, но даже и декретирована тайными приказами и открытыми призывами более образованных Лениных, Троцких, Дзержинских и Луначарских, которые исходили из культа революционной беспощадно-

сти и других, так сказать, революционных расчетов. Знал и абстрактно принимал это как должное — «революции не делаются в белых перчатках».

Но тут я впервые ощутил ту стихию подлого самоутверждения, к которой эти вожди апеллировали и которая вообще была одной из движущих сил большевистской революции. Как раз тем разгоревшимся из искры пламенем, на котором «закалялась сталь» и ленинский большевизм, а потом сталинщина ковала свои кадры*.

Это пламя было пламенем соблазна. Безусловно, те, кто дал этому пламени зажечь себя, — преступники. Но те, кто соблазнял их, пробуждая в них все дурное, и помог им реализоваться — намного виновней.

Больше этого комиссара я никогда и нигде не встречал. Но эта, вторая и последняя, встреча с ним имела большое значение для моего внутреннего развития. В его лице я впервые столкнулся с реальностью того, что мне представлялось романтическим. И это меня поразило и в меня запало. Я против воли представил себе, как плохо приходилось тем, кому он в подметки не годился, если они попадали в его руки.

И это — да и само то, что те, кого он убивал, в моем воображении оказывались явно лучше и выше его — было важнейшим (хоть пока и неприятным) открытием моей жизни. Пусть даже тогда еще не открытием, а только его порогом, который я все же еще не решался перешагнуть, но все же чем-то, чего я уже никогда не забыл. И что мне в более позднее время помогло освободиться от пут романтической ангажированности. Но тогда эта встреча на мое мировоззрение и мироощущение, то есть на отношение к ленинщине (Сталина я уже к тому времени отверг), все равно еще прямо не повлияла. До решимости перешагнуть этот порог мне оставалось расти еще — от этой карагандинской встречи лет пять-шесть, а от момента, на котором прервалось повествование, — девять-десять. Тогда, на этапе, я ведь и от Сталина пока не освободился.

* Мне уже приходилось писать о том, что уже и «красный террор» был, кроме всего прочего, компенсатором некачественности. Потом были рабфаковцы, позиции которых защищало государство, потом антисемиты. Все время изыскивались резервы темноты, и им отдавалась власть. Человека, о котором я тут вспомнил, из этой эстафеты в одночасье выбросили. Несправедливо? Но попробуйте в рамках большевизма или сталинщины искать справедливость.

Я тогда вообще еще был дикарем. Сказывалось это больше всего на моем отношении к «религиозникам» — пострадавшие за веру тоже следовали по этапу через пересылки. Но эти «отсталые» люди меня вообще не интересовали. Я уважал их за честность, но не за мысли, которых не знал и не понимал, но уверенно считал глупыми. Они тоже не пробовали приобщать меня к религии. Только помню, один парень моего примерно возраста пытался просветить меня и уговорил даже выслушать его доводы. Но он был представитель какой-то секты, отрицавшей загробную жизнь, и как только я услышал об этом, я тут же нагло объявил ему, что религия без загробной жизни вообще не имеет смысла, и дальше слушать отказался. Внешне я был прав — вера в Царствие Небесное действительно неотъемлемая часть христианства. Но мои возражения исходили не из этого, а из примитивной прагматики. Дескать, раз вы и вечной жизни не обещаете, так на кой вы нужны вообще. В своих представлениях о религии я недалеко ушел от уровня представлений того «юного пионера», который столь самонадеянно вступил когда-то в теологический спор с верующим дядей (см. часть 1).

Случались и забавные происшествия. Забавные, если забыть, что происходили они внутри трагедии и с людьми, которых мучили. Как-то вечером в камеру втолкнули двух человек. Они дошли до середины камеры, остановились и стали оглядываться. В неярком свете было не разобрать, кто это. И вдруг вся одуревшая от скуки и духоты камера как по команде угрожающе взвыла — стала на кой-то черт изображать из себя «Индию» или «Африку» — в общем, уголовную камеру. Кто это придумал, кто первый подхватил, было непонятно — но камера ликуя выла. Однако двое новоприбывших стояли неподвижно, спокойно пережидая бурю, и стало ясно, что они не новички.

Наконец, кто-то крикнул одному из них, продолжая игру:

— Вы кто, урки?

— Не, я пеона, — последовал ответ. Новый сокамерник оказался китайцем. Камера вновь возликовала.

— Пеона!

— Пеона, так твою мать!.. Зачем же ты шпионил?

Словно кто-то в этой камере мог не знать, как становятся шпионами, и словно в лагерях не привыкли к китай-

цам и к их русскому языку. Но донимала жажда продлить удовольствие. Однако китаец обиженно продолжал:

— «Пеона!», «Пеона!»... Будеса пеона, ессли тебе ливо-ливьера по голове. — Помолчал, и снова начал: — Я не пеона, я Кыласыная Алымия воевала... Денюкина воевала... Колысяка воевала...

Кое-кто пробовал продолжать развлечение, но теперь уже таких обрывали:

— Перестаньте!.. Вы что, не видите, человек о судьбе своей рассказывает. Душу изливает.

Сосед мой спросил:

— А тебя как зовут, Петя или Коля? — И обернувшись ко мне: — Они все так по-русски себя называют: Петя, Вася... — И опять китайцу: — А кем был в лагере? Прачкой?

Китайца эти вопросы действительно не удивили. Но его звали не Петя и не Коля, а Миша. И был он часовых дел мастером, а не прачкой. Второй вошедший был тоже «шпион», но не китаец, а советский литовец: «советский», значит, и до 1940 года живший в СССР. Профессии его не помню, но она была связана с ремеслом, он был тоже простым человеком. В «тридцать седьмом» он, как и его товарищ по несчастью китаец, был арестован и сходным способом превращен в шпиона. Правда, по-русски литовец говорил чисто — видимо, это был его родной язык. Оба, отсидев свои «червонцы», направлялись теперь в ссылку, в Красноярский, кажется, край. Представления, которое им устроила камера, оба они как люди опытные просто не приняли всерьез. Потому и спокойно его переждали. И сразу стали полноправными членами коллектива.

И опять этот факт в каком-то смысле подтверждает идиотское утверждение, что жертвами «тридцать седьмого года» были если не только одни коммунисты и евреи (эти слова в этих кругах опять выдаются за синонимы), то «интернационалисты». Как же не интернационалисты — сами видите: китаец и литовец. Китаец, конечно, в Красной Армии служил, но мало ли русских в ней служило? Да ведь не за это же его посадили. Может, в преследовании этих «нерусских» проявлялся дорогой им русский патриотизм Сталина? Но ведь и русских он никогда не забывал. И в конце тридцатых их и за коммунизм, и ни за что сажали никак не меньше, чем «иностранцев», — просто иностранцы выглядели ко-

лоритнее. Много сидело еще, например, немцев. Я имею в виду немцев не германских (настоящих или мнимых военных преступников), а русских, советских. И посаженных не в порядке общего преследования немецкого населения, начавшегося в сорок первом, а в порядке общей вакханалии тридцать седьмого. Когда энкавэдэшники и евреев записывали в гитлеровские шпионы, а уж немцев — как бы сам Бог велел. Между тем немцы, которых я встречал на пересылках, в основном были крестьянами. Один из них, как это ни комично, выдавал себя за голландца (за что тут же получил «хрена голландского»). Но тот «голландский», на котором он говорил, без всяких затруднений понимали другие немцы, тоже крестьяне и не полиглоты. В основном это были люди спокойные, положительные.

Но однажды — по-моему, это было уже в Новосибирске — я столкнулся с агрессивной яростью одного отчаявшегося немца и даже стал ее объектом. Произошло это в бане. Рядом со мной мылись два человека: один пожилой, среднего роста, другой — огромного роста и, чувствовалось, силы, но без одной ноги. Они говорили между собой по-немецки. Одноногий взволнованно что-то доказывал пожилому, тот пытался его успокоить. Меня это не касалось, и я думал о чем-то своем — хватало о чем думать. Но вот я в очередной раз поднес свой бачок к крану, и вдруг одноногий фактически бросился на меня, даже занес ручищу для удара. Эта агрессия была направлена против меня, но вызвана не мной — не тем, что я подошел к крану — кранов было много, и конкуренции из-за них не было. Единственной моей виной было то, что я был евреем.

— Убью! — кричал он. — Таких, как вы, убивать надо! Ненавижу! — и дальше в том же духе.

Он меня не ударил, помешал его товарищ. Товарищ и отвел его от меня. Я подавленно молчал. Такой сконцентрированной, направленной против себя ненависти мне не пришлось испытать ни до, ни после этого эпизода. Потом оба они подошли ко мне извиняться. Молодой говорил, что он против меня ничего не имеет, но что ему не дают жить, мучают его столько лет, а за что? Он же не виноват, что был Гитлер. И вот — не выдержал.

Я не исключаю, что они несколько испугались, боялись, что я пожалуюсь, донесу. Конечно, антисемитизм тогда

уже практически был легализован, но немца за него могли и прищучить. Но говорил он искренне, с болью и раскаянием. Говорил, что дурак, нашел кого обвинять в своих бедах — такого же, как он, арестанта... Почему его враждебность к мучителям приобрела характер антисемитского взрыва? Он не оперировал обычным набором обвинений против евреев. Просто евреи всегда потенциально как бы входили в состав облыжных обвинений против него (поскольку немецкие нацисты убивали евреев), следовательно, во все то сцепление неправд, которые на него обрушились. А боль о своей загубленной жизни затмевала разум. А может, у него вдобавок и следователь был еврей — такое еще ведь и тогда случалось. Но так или иначе, расстались мы вполне мирно и доброжелательно. Я не убежден, что эти люди были жертвами тридцать седьмого года, возможно, их выдернули с поселения — там, скажу забегая вперед, сети расставляли довольно густо.

Все это были простые люди. Но среди заключенных немцев, а тем более среди жертв «тридцать седьмого» бывали не только они. Помню и, например, одного учителя из Энгельса (столицы бывшей Республики Немцев Поволжья), тоже немца. Переживал он происшедшее с ним, как и всякий другой оскорбленный в лучших чувствах комсомолец. Когда начавшиеся повальные аресты с последующими шельмующими митингами, с фантастическими обвинениями стали все более и более задевать знакомых ему людей, в это трудно было поверить. Правда, пропаганда ревела: «Разве ты можешь знать подноготную даже близкий тебе людей?» — но когда уж совсем перевалило через край, они с приятелем, знакомым с детства, договорились, что если с кем-нибудь из них двоих такое случится, второй будет знать, что сажают ни за что. Эксперимент удался — на следующий день моего собеседника арестовали. Что случилось с его приятелем, я не знаю.

Встречались мне еще «интернационалисты». Обаятельный кореец, командир Красной Армии. Поначалу его обвиняли в том, что он хотел присоединить Карелию к Финляндии: спутали корейца с карелом. Потом придумали что-то другое. И еще просто Коля-финн из Карелии. Человек абсолютно простой и весьма далекий от политики. Его, правда, не обвиняли в том, что он хотел присоединить Примор-

рье к Корее, но тоже в чем-то неправдоподобном. И свои десять лет получил все равно. Теперь он, как и я, направлялся в ссылку. В лагере (поскольку считалось, что он как финн и до этого был лесорубом, хоть это было не так) он сразу стал работать на лесоповале, и, видимо, наследственное умение справляться с пилой и топором в нем и впрямь жило, он втянулся в эту работу. И то, что других страшило, было ему по плечу, числился даже в ударниках. Он и в ссылке собирался работать по этой специальности. Разговоров с ним я почти не помню. Только один, смешной, когда у меня что-то порвалось:

— Коля, у тебя есть иголка с ниткой?

— И жавтра не будет! — отрубил Коля. Ему нравилось употреблять русские обороты. Не его вина, что все они были лагерные. Ведь посадили его еще очень юным.

Но встречались мне на пересылках не только политические (даже такие, как бандиты, за побег обвиненные в саботаже), но и бытовики. Тогда этот термин был для всех само собой разумеющимся, но боюсь, что сегодня уже мало кто знает, что он значил. На всякий случай попытаюсь это объяснить.

В СССР существовало три типа заключенных: политические (объяснений не требует, хоть название и неофициальное), уголовные (воры, бандиты, мошенники и т.п. «профессионалы» уголовного мира) и эти самые бытовики. Таких в лагерях было большинство, они были основной и наиболее удобной для начальства «рабсилой». На уголовниках — где сядешь, там и слезешь, а «пятьдесят восьмой» полагалось не доверять. Короче, все неполитики и неурки — от хулиганов, растратчиков, расхитителей (включая расхитителей колосков, о которых здесь уже шла речь) до лиц, совершивших должностные преступления, — считались бытовиками. Возможно, для юристов существовало больше градаций, но и зэки, и начальство в тюрьмах и лагерях в обиходе вполне обходились этими тремя.

Обычно «бытовики» сидели отдельно, но случалось, что и с нами. Так, однажды, когда я был уже в Новосибирске, к нам в камеру посадили большую их группу. Всех их привезли из Семипалатинской, кажется, области, и были они, судя по всему, работниками торговли. К этой категории трудящихся я, как и весь советский народ, питал извест-

ное предубеждение, и ни внимания, ни сочувствия эти прощтрафившиеся торгаши у меня не вызвали. Ясно запомнился мне только один из этих «торгашей». Прежде всего потому, что он был «красным партизаном». И тем, что при этом факта хищения не отрицал, но никакого раскаяния не испытывал и даже не изображал — наоборот, пребывал в неколебимой уверенности, что жил и вел себя наиболее разумным и достойным образом. Интересен в этом смысле запомнившийся мне конец его рассказа о своих «жизни и следствии». Естественно, на следствии он сколько мог упирался, но был приперт к стенке неоспоримыми уликами и показаниями подельников. Пришлось сознаться. И вот как происходил в его описании этот процесс «чистосердечного раскаяния»:

— Он (следователь. — *Н.К.*) и говорит: «Ну так, значит, все же взял?» А я: «Взял!» Он, конечно: «Ну так отдай!» А я ему: «Вот!» — И партизан выразительно предъявил слушателям энергичный кукиш, который он показал тогда следователю. Отдавать что бы то ни было тому государству, за установление которого он проливал кровь, свою и чужую, он явно не собирался. Даже не от жадности, а просто не считал нужным.

Тогда эта позиция меня больше развлекала, чем наводила на мысли. То, что красный партизан присвоил государственные средства (или средства, которые государство объявляло своими? — но так я думать еще не умел), меня уже не удивляло... Формула, выработанная партократией двадцатых годов именно для таких случаев — человек переродился, — «все объясняла». Дескать, был человек идейным борцом, но не выдержал «угара НЭПа» (теперь — «послевоенных трудностей»). Все выглядело логично. Но что-то тут все-таки было не так... Но думать об этом «чем-то» я стал намного позже.

А ведь тут все было не так — даже если забыть, что партизанская практика и воздействие лозунгов типа «Грабь награбленное!» вообще не способствовали укреплению традиционных крестьянских добродетелей. Да и не был этот партизан идейным. Для участия в партизанстве это было необязательно. Чтобы податься в такие борцы, достаточно было за что-то рассердиться на белых. Например, за то, что мало знакомые с местным бытом и психологией господа

офицеры иногда позволяли себе пороть сибирских крестьян. Вероятно, за дело, но — пороть. Между тем тогда уже нельзя было безнаказанно пороть и крестьян среднерусских, а о сибиряках и говорить нечего. Эта ошибка была одной из причин партизанского движения. «Идейные» деятели только ловко использовали эту ошибку, направляли недовольство в нужное им русло и придавали движению идеологическое оформление — отсюда и «идейность». Но интересовали партизана не идеи, а собственная жизнь.

Не назвал бы я этого партизана-торгаша и шкурником. У него, как и у его поделщиков — партизанство тут было ни при чем, — не было оснований думать, что они с кого-то «сдирают шкуру», что присваиваемое ими — народное. И особенно — что если бы они согласились вернуть присвоенное, они вернули бы это народу. То есть людям. То, что они видели вокруг себя — особенно в деревнях (а они в основном были из райцентров), — исключало такое отношение к делу. Государство грабило иногда подчистую. «Великое» сталинское открытие — что людям можно платить зарплату ниже их представления о своем жизненном уровне, имело много побочных последствий. Людям предоставляли самим, как умеют, выпутываться из обстоятельств, в которые их ставила власть — к тому же не оставлявшая им никаких законных способов улучшить свою жизнь. Вот все и выпутывались незаконно — каждый по своим возможностям. Одни могли немного (например, собирать колоски), а эти умели лихо. Да вот попались... Радости в этом было мало, но оснований для укоров совести или раскаяния они не видели в этом совсем. Не знаю, можно ли было назвать этих рай- или облторговских деятелей народом, но это было тоже частью экономической войны народа с государством, разрушительной для обеих «воюющих сторон». У партизана это «военное» отношение только выразилось наиболее агрессивно и прямо. Остальные помалкивали. Но брешь между законностью и моралью в повседневности народной, особенно деревенской, жизни постепенно превращалась в пропасть. Мораль оставалась, но распространялась только на частные отношения. По-прежнему порицалась кража у человека, но кража у государства (колхоза, райпотребсоюза и т.д.) не порицалась. В этой войне исчезло само понятие преступления. Осталось только наказание — самоуправство го-

сударства, корыстно мстящее за любое противодействие своим грабительским вождениям. Вот и не было угрызенной совести. Особенно если прибавить к этому, что советская торговля всегда была блудной дочерью советской системы распределения и по своей природе исключала скрупулезную честность. Если бы следовали ей, торговля бы просто остановилась — какие уж тут покаяния. Так что этот монолог, свидетелем и слушателем которого я случайно оказался, при всей своей комичности, тоже не был лишен исторического смысла.

Впрочем, совсем не факт, что этот партизан и его подельники мыслили так, как я здесь излагаю, — что они ясно сознавали или хотя бы ощущали себя противниками режима. До такой степени самосознания мало кто тогда дорастал. Людьями все эти «бытовики» были пожилыми, уверенными в себе, ощущали свою солидность и уместность — им было не до таких материй. Нет, они были не протестантами — скорее, они просто приспособлялись к условиям, созданным этим режимом, как к данности и старались — «по жизни», — чтоб было и себе не в обиду. Посадка при неудаче тоже входила в правила игры. В каком-то смысле так был воспитан, так приучился воспринимать жизнь весь нарбд. Кое-кто и в партократии — похоже, идеолог Суслов даже видел в таком отношении к жизни спасение от опасных для режима тенденций. Возможно, это режиму впрямь было выгодно. Но это несовместимо с нормальным функционированием общества. Что сегодня (в конце века) и сказывается в тотальном торжестве беспредела.

И еще такая странность. «Торгаши» эти были уверены, что везут их не в обычный, а в какой-то, как они выражались, «инвалидский лагерь». Не знаю, что это за лагерь и не были ли они светлой арестантской легендой. Краем уха я вроде что-то слышал о таких, но никого, кто там побывал, не видел — ни на этапе, ни в ссылке, ни после нее. Но эти люди свято в это верили. Откуда такая наивность? Может, откупились?

Однако в своем повествовании я несколько забежал вперед. Рассказываю о Новосибирске, но не рассказал, как убыл из Свердловска. Хотя рассказывать тут особенно нечего. Кончился месяц, на который мы были задержаны, и нас всех взяли на этап. Как это произошло, я уже теперь не

помню. Нас собрали в каком-то помещении (вероятно, на вокзале), вывели во двор, посадили в «воронку», подвезли к вагонзаку, который прицепили к тому же поезду № 71 Москва—Новосибирск, и повезли. Дорогу из Свердловска в Новосибирск тоже помню смутно.

Отчетливо — только трагикомические приключения одного приятного и вежливого молодого человека, посаженного к нам в купе в Омске. Он оказался крымским татаринном, живущим в ссылке то ли в Чулымском, то ли в Татарском районе. Работал он секретарем сельсовета. Обвинили его в хищении какой-то суммы (не очень крупной — в сельсоветах крупных не водилось), он это отрицал, и по общему впечатлению от его личности (а также потому, что я знаю, как в глухомани людей подводили под статью пьющие начальники) я думаю, что обвинение было ложным. Но сейчас он об этом уже не думал, а мечтал об одном — наконец-то добраться до суда. Дело в том, что следствие его велось в Новосибирске (если он жил в Чулымском районе) или в Омске (если жил в Татарском) — для его истории это не важно. Естественно, в одной из этих областных тюрем он и содержался во время следствия. Но следствие закончилось, а судить его должны были по месту совершения предполагаемого преступления. И вот на это «место» он никак не мог попасть уже чуть ли не неделю:

Процедура была проста, но очень громоздка. В Новосибирске его брали на этап из тюрьмы, выписывали, сдавали экипажу «воронка», сажали в «воронку», везли к вагонзаку, там процедура повторялась, и наконец он оказывался в купе. Теперь его на «родной» станции должен был встретить наряд милиции, получить его под расписку и отконвоировать в местную КПЗ (камеру предварительного заключения). И вот поезд подходил к станции, надзиратели подводили его к выходу, но конвой от местной милиции не появлялся, и сдавать его было некому. В конце концов поезд трогался, и парня возвращали назад в купе. И везли в Омск, где сдавали тамошнему «воронку», тот вез его в Омскую тюрьму, где он проходил всю процедуру приемки арестованного — с обыском и прочими прелестями. Назавтра или через день его снова из нее выписывали, и повторялась та же процедура, что и в Новосибирске. Он надеялся, что хоть на этот раз наряд явится за ним, но наряд не являлся, и бед-

ный арестант опять попадал в Новосибирскую тюрьму, где он опять проходил ту же процедуру оформления. Потом наряд снова его не встречал, и он снова оказывался в Омске. И так повторялось несколько раз. Наряд не выслали и к нашему поезду, и этот парень опять был доставлен в Новосибирск. Почему так происходило, я не знаю. Может быть, местное начальство почему-либо было заинтересовано в откладывании судебного разбирательства, может, причина была в другом.

Но так или иначе, это приключение не свидетельствует о четкости порядка управления в сталинскую эпоху, которая многим сейчас представляется образцом такой четкости. Впрочем, если бы дело находилось «на контроле» у «самого» — все действительно функционировало бы идеально. Такая это была система.

В Новосибирске я, конечно, сразу потерял из виду этого милого растерянного человека. Должен сказать, что в нашем купе, среди «пятьдесят восьмой», отделенный от уголовников, он, что называется, отдыхал душой, расслабился. А что ждало его дальше?

Впрочем, тогда я быстро перестал о нем думать: путаница началась уже с нами. Теперь я на нее не сетую — благодаря ей мне пришлось пережить небольшое, но интересное приключение. Но тогда она меня очень беспокоила — я ведь считал, что прибыл на место, и с минуты на минуту ожидал выхода на свободу, а тут — путаница.

Началось с того, что меня и еще двух ссыльных отделили от остального этапа и не отправили с ним вместе на пересылку. Видимо, тот факт, что у нас в формулярах значилось, что мы следуем на вольное поселение не куда-то, а в Новосибирск, сбивал с толку конвойные власти — они не знали, кому нас сдавать. Ведь мы уже были в Новосибирске. В конце концов за нами приехал «воронок» и долго возил нас по городу. Сначала он привез нас в местное управление МГБ. Это меня обнадежило. Здесь, как я полагал, нас должны были принять и выпустить. Но не тут-то было. Начальник конвоя, который отправился выяснять обстановку, через какое-то время (а мы пока томились в «воронке» в ожидании воли) вернулся ни с чем. МГБ нас не принимало. Не принимали нас и другие пенитенциарные учреждения, названий которых не помню. Не принимала нас

и областная тюрьма, куда нас наконец доставили. Но здесь хотя бы выяснилось, куда нас должны доставить. Оказалось, что на пересылку. Но поскольку было уже поздно, нас после долгих переговоров согласились оставить здесь на ночь, не принимая — девать нас все равно было некуда, с тем чтоб утром нас отсюда забрали и доставили на место.

Поскольку тюрьма нас не принимала, нас в ней особо не оформляли и скоро ввели в пустую камеру, где, кроме нас, никого не было. Не помню даже, были ли в ней нары. По-моему, спали мы на полу. Но я настолько устал, что мне это было безразлично.

Мои товарищами были бывалые лагерники. Крепкий плечистый молдаванин из Бессарабии (а не из Тирасполя) и еще один человек, русский, но, кажется, с примесью немецкой крови или с подозрением на это (за что и пострадал). Люди они были довольно простые, но вполне порядочные, то есть без всякого намека на уголовщину. Их происходящее с нами не удивляло — такое ли еще бывало. Меня тоже — только волновал призрак близкой свободы: ведь я, как мне сказали на Лубянке, должен был остаться в этом городе. Но все, о чем я пока рассказал, еще не было тем интересным приключением, на которое я намекнул чуть выше. Впрочем, и в самом приключении не будет ничего захватывающего. Только любопытное прикосновение к незнакомому и чуждому миру, который всегда рядом с нами.

Начал давать о себе знать этот мир почти сразу по прибытии нашем в камеру, когда мы стали располагаться на ночь. Внезапно раздался голос из преисподней. Оно, конечно, не из преисподней, даже не из подzemелья — камера помещалась отнюдь не на первом этаже, — а из какой-то щели в полу. Голос стал устанавливать контакты, выяснять, кто мы такие. Мои спутники тут же с готовностью отрекомендовались бандитами, арестованными по статье 593 (вооруженный бандитизм). Голос попросил закурить. Ему, кажется, сунули что-то в дыру. Потом он стал просить, даже требовать чего-то «похавать» (поесть), а этого у нас у самих не было — мы ведь жили на этапной пайке. Но сосед снизу был уверен, что у людей, сидящих по такой солидной и уважаемой статье, всегда что-то есть, и стал повышать голос. Период мирного сосуществования кончился. Мои спутники не остались в долгу и в конце концов послали его «по

всем адресам». Он стал угрожать нам страшными карами, но мои товарищи не сдались и швырнули ему в дыру какую-то пакость. И кажется, вообще чем-то заткнули это отверстие. Голос в конце концов замолк. А мы уснули.

Но все это было преддверие. Интересное началось утром, когда нас опять посадили в «воронок». В его общем отделении уже находились женщина средних лет и несколько молодых парней. Вид у них был вполне нормальный, у некоторых даже располагающий. Мало ли кто тогда сидел. То, что двое из этих парней были в наручниках*, то есть относились к категории «особо опасных личностей», от которых в любой момент можно ожидать чего угодно, я заметил не сразу. И я ничего не имел в виду вызнаться у них, когда спросил у женщины, куда их везут — просто хотел узнать, куда везут нас.

— Куды? На кудыкину гору! — неожиданно грубо и зло отрезала она. Я не ждал враждебности и потому осознал ее ответ не сразу. Я никогда до сих пор не слышал этого выражения и подумал было, что, возможно, у них в Новосибирске есть гора с таким названием, в районе которой и расположена пересылка, куда нас везут. Но грубость тона хоть и с опозданием, но все же дошла до меня, и я отбросил эту гипотезу.

Скоро стало понятно (по фразам, которыми они перебрасывались), что эта женщина и парни хорошо знакомы друг с другом и проходят по одному делу. Сейчас их везли в суд, причем не первый раз. И «бойцы вспоминали минувшие дни», перебирали различные эпизоды прошедших заседаний. В основном свои лихие ответы. Процесс, видимо, был сенсационным. Тогда милиция везде ликвидировала банды типа «Черной кошки» — это, видимо, была одна из них. И им льстило внимание прессы и публики — они чувствовали себя актерами популярного спектакля. С удовольствием вспоминали, как один из них, парень с вполне располагающей внешностью — я не сразу заметил, что он в наручниках, — объявил «гражданам судьям»: «дайте боль-

* Наручники эти, свирепо сжимавшие запястья при каждом резком движении (или если потянуть за кольцо) и уже не отпускавшие, усиливавшие давление при новых попытках, применялись из предосторожности при этапировании особо опасных преступников. В МГБ они иногда применялись и для пыток.

ше, шлите дальше!» Потом я узнал, что это стандартная формула, бытующая среди урок для выражения лихости — когда уже терять все равно нечего. Судя по всему, выворачиваться этому парню было уже поздно.

Мои товарищи, быстро сообразив, с кем имеют дело, на вопрос, по какой статье сидят, опять ответили, что по 59/3. Впрочем, особого впечатления это не произвело — сами были с усами. Никак не отреагировали они и на мою «суперфраерскую» 7/35. Может, потому, что она была им внове. Но вообще были они тогда заняты только самими собой. Но говорили и о своих перспективах, кому сколько дадут. Насчет парня с располагающей внешностью все сошлись, что получит он все двадцать пять.

— Да, меньше не получится, — согласился он со скромным достоинством.

— Да... Меньше не дадут, — подтвердил кто-то из его товарищей. — Это раньше дали б вышку и заменили б десяткой. А теперь смертной казни нет — теперь как пить дать дадут двадцать пять.

— Да, раньше могли, — согласился виновник торжества. — А теперь смертную казнь отменили — дадут на полную катушку.

И покачал головой. Не очень, впрочем, огорченно...

По-видимому, симпатичный этот парень был душегубом — иначе откуда такая уверенность в том, что он получит максимум? Впрочем, душегубами были и его товарищи, но в меньшей мере. Парень этот в каком-то смысле чувствовал себя человеком, защитившим докторскую — его преступление и срок гарантировали ему теперь высокое положение в урочьей иерархии. У них ведь тоже была своя номенклатура.

Вдруг женщина забеспокоилась и запричитала:

— Петя!.. Петенька!.. Что ж это будет... Как там Вера одна осталась!

Оказалось, что она была матерью одного из этих парней, а дома осталась его сестра. Сыну, однако, эта вспышка обыкновенной материнской тревоги пришлась не по душе.

— Молчи, такая-сякая! — грубо, грязным матерным определением остановил он мать, и та растерянно затихла. А ведь воровским песням свойствен сентиментальный культ матери. Но я тогда не думал об этом несоответствии, а про-

сто смотрел во все глаза. Впрочем, эти песни здесь ни при чем. В них мать выступает как символ и память о доблатной нормальной жизни сына, еще не затянутого в омут «несчастной воровской жизни». А здесь мать была подельницей — такого песни не предусматривали. В чем заключалось ее соучастие — в хранении ли награбленного, в том ли, что содержала «малину», наконец, участвовала ли она в этом предпрятии только из жалости к сыну или от нужды соблазнилась — я не знаю. Но никто в этой компании не выдавал себя за невинно пострадавшего, и она тоже. Только выглядела она при этом несчастной и заискивала. Перед всеми. И перед сыном тоже.

Подъехали к суду. Видно нам через решетку в двери было мало, но чувствовалось, что милиция готовилась к высадке наших спутников как к боевой операции. Раздавались голоса, команды, оттеснялся народ. Выводили по одному. А к двери в это время рвались родственники и друзья. Нет, это не было старорусским отношением к «несчастным». В голосах чувствовалась не только забота, но и гордость причастности к таким парням. И я не поручусь, что эти гордящиеся сами не принадлежали к блатной «хевре».

Я и теперь не понимаю их дерзкого поведения на суде. Это было нечто новое — ведь до революции урки речей такого рода не произносили — стремились вывернуться, и все. А эти вели себя так, словно соблюдали ленинские «правила поведения пролетарского революционера перед буржуазным судом». Революционеры эти тоже были преступниками, тоже воевали с обществом, у них тоже была своя частная «партийная» мораль (и объективно они были даже более опасны для людей и общества, чем мои спутники), но многие из них и впрямь полагали, что не самоутверждаются, а несут человечеству счастье.

А что наполняло гордостью этих? И их поклонников? Полное презрение к официозной морали, выдаваемой за общественную? Та «жизненная практика», о которой я говорил в связи с «торгашами»? Не знаю. Все смешалось в доме Облонских!

Я не сознавал, но чувствовал, что границы блатного мира явно размыты. Как мог заметить читатель, многое я тогда не сознавал, но чувствовал. Думаю, что это вообще черта советских людей сталинской эпохи — честных и нечест-

ных, дурных и хороших — жизнь они все по разным причинам больше чувяли, чем осознавали.

Но тогда я об этих случайных спутниках почти не думал. Только почувствовал, что после того, как их увели, исчезло напряжение и стало легче дышать. Моим товарищам, хорошо знавшим эту публику, тоже.

— Видел, как он с матерью... Бандиты, — вздохнул один из них.

Но мне было не до этого — я торопился на пересылку, а оттуда на волю, в этот город, куда был вроде выслан. Я представлял, как я скоро буду ходить по его улицам, и ликовал. Только напрасно... Скажу наперед, что в этом городе я так никогда и не побывал, если не считать этих двух проездов в «воронке» и потом трех кратких пребываний на перроне его вокзала. Но я этого еще не знал и ждал свободы.

Наконец мы прибыли. С нашим прибытием на пересылку связано у меня еще одно не совсем ординарное впечатление, как-то перекликающееся с предыдущим. За проходной (похоже, в промежуточном дворике перед другими воротами) мы почему-то задержались, и с нами приветливо заговорили чего-то тоже там ожидавшиеся мальчик и девочка, по виду и проявлениям вполне городские. Обоим было по четырнадцать лет, но были они уже зэками — получили по пятнадцать. К сожалению, отнюдь не за политику, то есть не «ни за что». А в этом случае пятнадцать лет — тем более подросткам — просто так не давали и тогда. Только за серьезные дела. За ними наверняка было участие то ли в крупной воровской операции, то ли в коллективном ограблении. Может быть, даже были связаны с нашими случайными спутниками. Они тоже не жаловались на несправедливость, не стремились вызвать сочувствие или жалость. И лица у них были детскими, трогательными. Конечно, все поражались сочетанию их возраста со сроком (сидеть им предстояло дольше, чем они жили до тех пор), но они, казалось (а может, и на самом деле), были только довольны производимым впечатлением. Довольны без вызова и лихости, а как-то тоже по-детски. И вообще они не испытывали от своего положения никакого неудобства. Чувствовали себя как бы в начале интересного приключения. Какой же должна была быть их нормальная жизнь, чтоб их так не страшила и даже привлекала жизнь воровская и тюрем-

но-лагерная? И что их ждало, Господи? В тот момент они вызвали у меня сочувствие и симпатию, но я не знаю, были ли я прав. Безусловно, и они были симптомом общего неблагополучия, но ведь не на всех это неблагополучие отражалось так, не оборачивалось веселым решением отыгрываться на других... У меня до сих пор нет четкого ответа на этот вопрос. Но это сегодняшние мысли. Тогда это только запало в душу и ушло в запасник.

Тогда у меня было о чем думать. Вопреки ожиданию, никто не торопился меня выпускать. Об этом даже и речи не возникло. Просто явились надзиратели, и нас — меня и двух моих товарищей — как ни в чем не бывало отвели в обычную пересыльную камеру. Правда, отвели к «своим» — к «пятьдесят восьмой», среди которых было немало и таких же ссыльных, как мы. Но — в камеру. Мы все равно оставались зэками.

Мое пребывание в этой камере особых впечатлений в душе и памяти не оставило. Встречи, как я уже писал, перепутались со свердловскими, и я о них уже рассказал. Остальное стерлось. Все мое внимание было поглощено тем, когда, а потом и куда меня выпустят.

Несколько дней я томился в неведении. Потом началось оформление. И тут меня и ожидал удар. Назначенных в ссылку после лагеря и «повторников» стали вызывать по одному и, не говоря худого слова, оформлять на жительство в какой-то дальний Михайловский район. Это было тревожно, но я утешал себя тем, что у меня все же особый случай — все же я был не ссыльный, а только высланный из Москвы, сам добровольно выбравший место поселения (как все же идеологически близкий, что для меня еще имело значение). Но вот вызвали и меня. И стали как ни в чем не бывало оформлять туда же — в общем порядке. Ссыльных в Новосибирске не оставляли, а насчет высланных у старшего лейтенанта, оформлявшего эту партию ссыльных, не было никакого представления и никаких инструкций. Как не было в этой партии (и в других тоже) и самих высланных, кроме меня. Я был обескуражен такой простотой административных нравов, но все же не очень. Притерпелся. В Свердловске нас задержали на месяц так же просто.

Потом я понял, что мне повезло. Если бы мое дело выделили из общего потока, оно бросалось бы в глаза, на

него обратили бы внимание, а опыт подопечных МГБ гласил, что обращать на себя внимание ни в коем случае не рекомендуется — возрастает вероятность того, что опять прихватят. Но, слава Богу, старший лейтенант на мои доводы обратил не больше внимания, чем на жужжание комара. Только сказал, что, прибыв на место, я смогу подать заявление о перемене места поселения. Я этого не сделал. Впрочем, когда по истечении срока меня отпустили (ссылных оставляли «навечно»), я рад был только самой возможности освободиться, сорваться с прикола — идеологическая близость режиму меня уже не интересовала.

Но до возвращения из ссылки еще далеко. Пока я еще только туда еду, только «приближаюсь к месту своего назначения».

Отбыли мы из Новосибирска 13 октября 1948 года. Произошло это просто и буднично. Нам выдали вещи (на пересылках, как во всех тюрьмах, их держали отдельно от нас в камере хранения), свели в какое-то одно помещение, провели переключку, и тот же старший лейтенант вывел нас за ворота. С этой минуты он стал нашим поводырем, гидом, начальником — как хотите называйте, — но не конвоиром. Конвоя не было. И хоть ехал я не туда, куда надеялся, туда, где, как я полагал, ничего хорошего меня не ждало, это было очень приятно. Мне. А тем, кто под конвоем провел десять лет с довеском «до особого распоряжения» (каковым и стала эта «вечная ссылка»), — о них и говорить нечего. И мы гурьбой пошли за лейтенантом на вокзал. Пешком — благо было недалеко. Ехали мы в бесплацкартном, но классном вагоне по обыкновенным билетам, что с отвычки многим тоже было радостно.

Утром эта робкая эйфория кончилась. Мы выгрузились на маленькой станции Кожурла, недалеко от Барабинска, и оказались в царстве абсолютной нищеты. Где-то в маленьком станционном здании, как потом выяснилось (где — сейчас и представить не могу), помещались почта и телеграф. Больше там ничего не было, только рядом со станцией какая-то избушка с огородом. Денег у меня не было совсем, кто-то, у кого их тоже было в обрез, дал мне денег на конверт и марку, и я послал маленькую весточку родителям — с адресом, по которому мне можно было теперь писать: дер. Чумаково Новосибирской области, до востре-

бования. Чумаково было районным центром Михайловского района, в который мы были направлены. До него отсюда было всего сорок километров. Правда, нелегких, как мы вскоре убедились. Сюда за нами должны были прислать транспорт. Транспорт задержался, но прибыл зам. начальника районного отделения МГБ ст. лейтенант Патрушев, человек приветливый и словоохотливый и, в общем, насколько позволяла его должность, неплохой.

Он вовсе не был глуп, но почему-то обратился к нам с речью примерно такого содержания:

— Товарищи! Многие из вас долгие годы были в изоляции — искупали свою вину перед Родиной. За это время страна и в экономическом, и в культурном отношении шагнула далеко вперед. Вы не узнаете ее, вам на первых порах будет трудно приспособиться к этому уровню. Но мы надеемся, что вы эти трудности преодолете.

Но транспорт, несмотря на этот возросший уровень, все не прибывал, и было решено идти ему навстречу. И «возросший экономический уровень» показал себя в первой же деревне. Когда-то крепкие пятистенные сибирские избы в большинстве своем теперь выглядели так: одним торцом вместе с полом они были задраны высоко в небо, как зенитки, а другим зарылись глубоко в землю под самую крышу. Крыши были земляные, поросшие травой, и на них, как на пригорках, паслись козы, а то и коровы. В следующей деревне было то же самое.

Хочу предупредить, что даже тогда далеко не все деревни в тех местах имели такой вид. Но первые две, которые нам встретились, выглядели именно так. Веселья это никому не прибавило. Особенно после просветительной беседы старшего лейтенанта.

Но я не сдавался. Через очень короткое время я написал стихи под названием «Барабинская степь», которая передавала впечатления от первой встречи с этими местами:

Неброское великолепье
России — вошло в мою душу.
Я еду Барабинской степью,
Которую скоро осушат.

Вокруг тишина и свобода.
И сам ты становишься тише.
...Как будто бедна здесь природа,
Но мощь в этой бедности дышит.

Где мощь? Где ты встретился с нею? —
Товарищ мой рядом смеется.
Поля... И полями чернеет
Кустарник на скрытых болотцах...

Ответом смущенный немного,
Я, сбившись, на миг умолкаю.
...Идет горизонтом дорога,
И нет ни конца ей, ни краю...

Они передают мое странное и противоречивое впечатление от этого похода-поездки. С одной стороны, мне очень хотелось видеть вещи не только в мрачном свете, на что настраивало буквально все вокруг, с другой — что-то ведь и было вокруг такое, что настраивало на приятие. Может быть, из-за этой противоречивости я и не пытался до сих пор опубликовать эти стихи.

Погрустневшие, переговариваясь тихо (чтоб начальники не слышали): «Ничего себе, возросший уровень!» — плелись мы по дороге среди этих полей с болотцами. Какие-то поля были зелеными, несмотря на позднюю осень, — мне объяснили, что это озимые. Я никогда до этого их не видел.

Кажется, вскоре после второй деревни транспорт все же появился. Нас подобрала высланная из района машина. По тряской и хлюпающей дороге она через некороткое время доставила нас в центр Чумакова, к районному клубу, которому предстояло стать нашим временным пристанищем. Как я теперь, много лет спустя, понял, клуб этот находился в здании церкви. Но за все два года жизни здесь мне никто не удосужился об этом сказать — никого это не интересовало. Меня тоже. Особенно в день приезда.

Я не знал, куда себя девать, и вышел на крыльцо. То же сделали несколько других новоприбывших. Переговаривались, делились впечатлениями. Был уже вечер, огни в избах горели тускло — электричество в райцентре появилось позже, уже при нас. Вокруг шла какая-то жизнь, появлялись редкие прохожие, с любопытством взглядывали на нас и проходили. По своим делам. У нас дел пока не было. Но вот подошел высокий строгий человек и представился: инженер Григорий Григорьевич Головин (из тех Головиных, как я узнал не от него), поздоровался, сообщил, что он тоже ссыльный, но с предыдущего этапа. Оказалось, что мы не первые. Работал он здесь главным инженером райкомхоза.

— Вам будет легче, — сказал он, — потому что вы приехали вторыми, после нас. Но и мы были не первым этапом, до нас сюда пригнали этап урок, отсидевших по 593. Местные не знали, с кем имеют дело, пустили их на квартиры, но дня через два они обокрали всех, кого могли, в том числе квартирных хозяев, и исчезли. А чего им не бежать? Нет паспортов? Но для них ведь это не препятствие. Из-за них наш этап встретили плохо, не верили, что мы не урки: «Знаем мы вас!» На квартиры пускать не хотели. Теперь немного попривыкли — вам будет легче.

Кое-что он рассказал и о возможностях устройства, о «фронте работ». Облегчения это мне не принесло. В главные и прочие инженеры я не годился, в бухгалтеры или плотники — тоже. А больше ничего тут не было. Выходило, что я просто не прокормлюсь.

Мысли мои были невеселые. И вдруг в дополнение ко всему я вспомнил, что сегодня 14 октября 1948 года. Начало моего пребывания в ссылке совпало с моим двадцать третьим днем рождения. И стало еще тяжелей. Но отчаяния, сколько помнится, все же не было. Молодость есть молодость. Жить все равно хотелось, и я все равно верил, что буду жить. Только неясно было как.